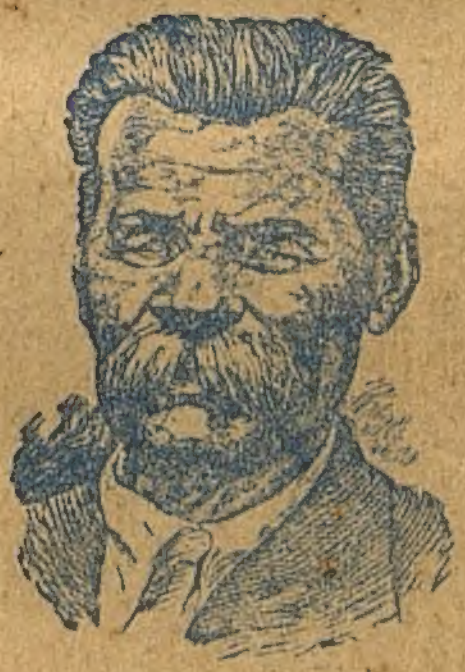
Писатели-патриоты
великой родины

*

М. ГОРЬКИЙ

О РОДИНЕ



М. ГОРЬКИЙ

8
Г-71

О РОДИНЕ

СБОРНИК

Государственная библиотека СССР
6-1954

Составил
Е. З. Балабанович

Вступительная статья
Б. М. Другова

ОГИЗ
Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1945

Под редакцией
А. М. Еголина, Е. Н. Михайловой,
И. Н. Розанова

Библиотека АП РФ
2 010003 52060 1

ГЕРОИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РУССКОГО НАРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ ГОРЬКОГО

«Россия будет самой яркой демократией земли!»
М. Горький «Мать».

Родоначальник советской литературы, Горький завершил классический период русской литературы XIX века, проникнутой глубоким чувством родины, верой в талантливость и моральную силу родного народа. Пушкин в бессмертных своих стихах поэтически увековечил гигантскую фигуру Петра Великого — символ созидательно-государственной мощи нации. Классическим образцом мирового эпического искусства стала «Война и мир» Л. Толстого—величавый памятник отечественной войны 1812 г. Яркой героической песнью о мужестве и свободолюбии родного нам украинского народа звучит гоголевский «Тарас Бульба». Нравственная красота, душевная стойкость русской женщины воплощены в героине «Евгения Онегина», в обаятельных женских образах романов Тургенева, в героинях «Русских женщин» и «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова. Талантливость «художественную натуру» русского человека поэтизировал Лесков («Запечатленный ангел», «Левша»). Страстная убеждённость в высоких моральных качествах народа особенно свойственна величайшим гениям русской литературы — Толстому и Достоевскому.

Горький не только наследовал этим классическим традициям, но и поднял их на новую ступень художественного опыта. В творчестве Горького происходит полное слияние самой революционной мысли и подлинной народности, боевого критического духа и патриотической героики, наивысших достижений литературного мастерства и мудрой ясности фольклора.

Русский народ изображён Горьким во всей живой конкретности национального колорита, в связи со всей историей, исконными традициями труда и культуры.

Горький учит уважать наше прошлое. «Пусть каждый, — пишет он в 1912 г., — свободно живёт и работает на земле, удобренной прахом его предков, украшенной их великой работой, и тогда все мы почувствуем себя в нашей России, как дети на груди матери». Обращаясь

к истории, великий писатель с волнением и любовью напоминает о самоотверженной защите родины русским народом: о «широком размахе народной мощи, развернувшейся на защиту своей страны» в 1812 г., о патриотической страсти народа, который, — как говорит он по поводу картины Маковского «Минин», — «собрался отстаивать Москву и бескорыстно, горячо срывает с себя рубаху в жажде положить кости за родную землю»[1]. В рассказе «Пастух» сельский пастух Тимофей Борцов, человек русского здравого смысла, с иронией говорит о захватчиках: «Этот самый держалец земли всю вселенную кормит и к нему всяк народ идёт: немец разный, француз и турка, — все к нему лезут. Даже, сам знаешь, завоевать хотели сколько раз: обворужатся, чем лучше, и прямо на Москву лезут охально. А он сидит смирно, ждёт. Да. Подкатятся они, двенадцать языков, а то и побольше, тут он встаёт, да кэ-эк бабахнет! И все наступатели эти пылью рассыпятся, — больше ничего. И — никакой о них памяти. Будто — были, а — уж нет!» Это спокойное сознание народом своей силы основано на огромном историческом опыте России.

Национальный колорит горьковских произведений сказывается в картинах русской природы — «широкогрудой Волги» («Фома Гордеев»), необъятных степей, в многоцветной живописи «тех сказочных вечеров, когда русская зима с покоряющей щедростью развёртывает все свои холодные красоты» («Жизнь Клима Самгина»), в горьковской безмерной любви к своему родному языку с его «красотой и остротой, гибкостью и хитростью» и к устному народному творчеству. Бабушка автобиографической трилогии и сказительница Ирина Федосова, в голосе которой «помимо добротной красоты слов было... что-то нечеловечески ласковое и мудрое» («Жизнь Клима Самгина»), бесконечная вереница любителей русской песни, старики-сказочники, наконец, герои рассказа «Как сложили песню», — подобные образы, занимая значительное место у Горького, наиболее наглядно указывают на связь его творчества с русским фольклором.

К Горькому, который полагал важнейшей задачей писателя «изучение корней психики и мироощущения народа», вполне применимы его же слова о Лескове: «он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется душою народа» («Н. С. Лесков»). При этом, будучи художником глубоко национальным и самобытным, Горький с пристальным вниманием и симпатией показал также людей различных национальностей нашей страны, — стоит вспомнить о чудесном образе украинца Андрея Находки в «Матери», о рассказах «Каин и Артём», «Мордовка», «Знахарка», о зарисовках народов Кавказа и т. д. И весь этот многоцветный, динамичный облик России в творчестве Горького, изумляющий творческой новизной и яркостью «тысяч обра-

---

[1] Сб. «Горький об искусстве». М. 1940, стр. 138.

зов и типов», предстаёт под углом зрения революционного героизма и творческого труда народа.

Героическое, в понимании Горького, вытекало из самых глубин народного духа. Тем и объяснялась всепобеждающая искренность романтически условных Сокола, Данко или символически обобщённого «Человека», что писатель всегда видел в русской жизни типически конкретные проявления героизма. В рассказе «Кирилка» изображён «мужичонка на кривых ногах, в рваном полушубке, туго подпоясанный, перегнувшийся вперёд и как бы застывший в поклоне нам»; этот невзрачный по виду и душевному складу крестьянин, показанный на неприглядном фоне деревни 80—90-х гг., оказывается способным на отчаянную храбрость и самопожертвование: во время пожара на пароходе он «собственноручно спас четырёх пассажиров, поздней осенью, часа четыре кряду, рискуя жизнью, купался в воде, в бурю, ночью»... Таков и староста плотничьей артели в «Ледоходе» Осип: в трудный момент, взяв на себя ответственность за жизнь плотников, он как бы внезапно приобрёл свойства мужественного, волевого человека, освободившись от своего будничного обличья. «Осип словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито, ленивая развалистая походка тоже исчезла — он шагал твёрдо, уверенно». Теперь он не знает страха в борьбе со стихией и геройство его утверждает любимую мысль Горького, что нельзя полностью судить о людях по признакам, навязанным неблагоприятными условиями жизни. Горький всегда подчёркивал активные, волевые моменты поведения и психики своих героев: «по силе условий «социального воспитания», — писал он, — человеку очень легко быть «плохим» и... у него слишком мало причин быть «хорошим», и если он, всё-таки, хорош, так это — его личная заслуга» («Заметки читателя»).

Тем самым, гуманизм Горького исполнен героического пафоса изменения мира, пафоса деяния, изменяющего и самого человека. «Если бы я был критиком, — говорил Алексей Максимович в 1928 г., — и писал книгу о Максиме Горьком, я бы сказал в ней, что сила, которая сделала Горького тем, что он есть... заключается в том, товарищи, что он первый в русской литературе и, может быть первый в жизни, вот так, лично, понял величайшее значение труда... образующего... всё прекрасное, всё великое в этом мире». Именно потому, что Горький видел русскую жизнь в перспективе её революционного переустройства, — в его произведениях возникает совершенно новая тема созидательного творческого труда. И если скорбью и гневом дышат страницы горьковских книг о том, как люди в старой России «подавлены тяжестью труда» («Двадцать шесть и одна»), то вместе с тем Горький ещё в юности остро ощутил никогда не угасающую в народе «героическую поэзию труда» («Мои университеты»). Былинный образ Василия Буслаева, по словам Горького, — «одно из величайших и, может быть, самое значительное художе-

ственное обобщение в нашем фольклоре» — наш национальный образ беспредельного вольнолюбия и дерзостного вызова силам природы, — отразился во множестве горьковских героев вплоть до пьесы «Егор Булычов и другие»; показательно, что с буслаевским типом связывал Горький в монологе из задуманной пьесы «Васька Буслаев» исконную народную мечту о беспредельных возможностях труда:

Круг земли пошёл бы, да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил, да сады всё садил!
Землю разукрасил бы — как девушку!..

Горький славит энергию и сметливость русского народа, который «в лице Дежнева, Крашенинникова, Хабарова и массы других землепроходцев открывал новые места, проливы — на свой счёт и за свой страх»[1], с нескрываемым волнением говорит он о народных живописцах Палеха, о талантливых ремесленниках, поднявших свою профессию до уровня искусства, о безыменных русских изобретателях вроде «Хорошего дела» из повести «Детство» — «из бесконечного рода... лучших людей» России. В «Фоме Гордееве», «Моих университетах», «Жизни Клима Самгина» в замечательных сценах артельной работы показывает Горький, как может русский человек безгранично любить свой труд, какие необъятные перспективы открывает «восторг делания». «Казалось, что такому напряжению радостно разъярённой силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки» («Мои университеты»). С благородной гордостью говорит Алексей Максимович о труде русских учёных, от М. В. Ломоносова, «колоссальной легендарной фигуры выходца из мужиков»[2], до И. П. Павлова, об искусстве и литературе, в которых «русский человек обнаружил изумительную силу».

В Советской стране сбылись самые смелые мечтания Горького о народном творческом труде, и уже в 1928 г. он мог с радостью отметить, что «рабочий класс показал себя в эти десять лет великолепным хозяином, героическим строителем государства, и что его работа в эти годы изумит будущего историка русской революции — изумит именно своим сказочным мужеством». В очерках «По Союзу Советов», в рассказах о сельских активистах из цикла «Рассказы о героях», в ряде статей Горького раскрывается героика свободного труда, который вызывает расцвет ранее придавленных, полускрытых сил народа. «Стахановцы, — писал Горький в статье «О новом человеке», — наглядно показывают нам, что любой человек может быть

---

[1] «История русской литературы», М. 1939, стр. 188.

[2] О том, как я учился писать. Сб. «О литературе», М. 1937, изд. 3-е, стр. 205.

артистом в своём деле, если он этого хочет». И в другом месте: «нигде в прошлом, даже в эпохи величайших напряжений энергии, как, например, в эпоху Возрождения, количество талантов не росло с такой быстротой и в таком обилии, как растёт оно у нас за время после Октября»[1]. Во всех этих произведениях и высказываниях Горького отмечена характерная черта нашей революции, которая, как говорил В. И. Ленин, «отличалась от всех предыдущих революций именно тем, что она подняла жажду строительства и творчества в массах»[2]. Этот свободный творческий труд в Советской стране явился результатом той титанической борьбы, в которой русский народ, ведомый большевистской партией, сплотил все народы России и совершил бессмертные подвиги героизма, отображённые в творчестве Горького.

В мировой литературе XX века нет другого художественного произведения, которое сразу завоевало бы себе такое всеобщее признание многомиллионного читателя, как это было с повестью Горького «Мать», напечатанной одновременно в массовых тиражах в Америке, Англии, Италии, Франции и т. д. В то же время «Мать» стала сильнейшим художественным документом пропаганды большевистской партии; Горький вспоминает в очерке «В. И. Ленин» о своей беседе с Владимиром Ильичем по поводу «Матери». «Я сказал, — писал Алексей Максимович, — что торопился написать книгу, но — не успел объяснить почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. «Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент»[3]. В повести «Мать» мы видим мужество и красоту русских людей, всецело охваченных идеей борьбы за свободу, видим, как в этом освободительном движении вырастают в настоящих героев самые, казалось бы, заурядные люди, какие неисчерпаемые возможности расцвета личности таятся в каждом человеке, который поставил целью своей — счастье народа. Несмотря на тягостные картины старого рабочего быта и трудностей революционной борьбы, — вся повесть светится изнутри своей жизнеутверждающей идеей, сиянием образа русской женщины Ниловны — образа святого материнства, возросшего до безграничной любви к людям. В «Матери» Горький художественно обобщил типические факты освободительного движения в России, и на горьковских героях, как на

---

[1] Сб. «О литературе», М. 1937, изд. 3-е, стр. 431. О кочке и точке, там же, стр. 178.

[2] Доклад о ратификации мирного договора, Сочинения, т. XXII. стр. 397, изд. 3-е.

[3] М. Горький, В. И. Ленин, М. 1932, стр. 5.

идеальных примерах самоотверженной преданности великому делу, будут воспитываться поколения читателей.

Безыскусственность, недоверие к звонкой фразе, ко всякой аффектации — специфическая черта русского героизма, подмеченная Горьким. «Вот так же просто он пойдёт на смерть, если будет нужно, и также, вероятно, немножко заторопится. А когда смерть взглянет в его лицо, он поправит очки, скажет — чудесно! — и умрёт» («Мать»). В зарисовке «Митя Павлов» сормовский рабочий, перевозивший в дни московского восстания 1905 г. гремучую ртуть, не думает о смерти, которая висела над ним, но более всего беспокоится о своих товарищах: «О себе же, о той опасности, которую он только что чудом избежал, — ни слова».

Величайшая объективность и вместе с ней искренний лиризм, резкая полемичность писателя-новатора, характерные для Горького, обусловлены большевистской идейностью его творчества. «Жизнь Клима Самгина» с её фантастической сложностью общественной обстановки и бесконечной путаницей отношений в русской жизни в период её исторического перелома перед Октябрём 1917 г., — приобретает последовательно простоту и ясность монументальной классической эпопеи потому, что горьковское объяснение событий совпадает, в своей основе, с их пониманием большевиком Кутузовым. А в «Деле Артамоновых» тема крушения и распада артамоновского «дела» в кризисные годы первой мировой войны вполне уясняется в многозначительных напоминаниях Горького о большевике Илье Артамонове. Только его, своего сына, считает старый Пётр Артамонов настоящим человеком на фоне суетливых дельцов, полоумных «утешителей», полицейских шпионов и пророчески говорит о нём: «Вот он воротится, — он наведёт порядок». В Октябре 1917 г. были разрешены социальные вопросы в России и создан тот порядок, страстным ожиданием которого проникнуто дореволюционное творчество Горького.

Героическая тема достигает своего наивысшего подъёма у Горького именно в послереволюционные годы, и характерно, что важнейший цикл его новых рассказов имеет название «Рассказы о героях». Перед многонациональной советской литературой Горький ставит величественную задачу создания героического образа и в статье «О пьесах», говоря о «Человеке с большой буквы» — В. И. Ленине, указывает: «Вот этот учитель, деятель, строитель нового мира и должен быть главным героем современной драмы». Бессмертный ленинский облик оставляет неизгладимое впечатление в творческом сознании Горького, который стремится написать литературный портрет Владимира Ильича. «Героизм его, — писал в 1930 г. Горький, — почти совершенно лишён внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России, скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убеждённого в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжёлой работы для

счастья людей». В Ленине, по Горькому, сосредоточены в невиданной комбинации лучшие качества русского народа. «Меня восхищала, — писал Алексей Максимович, — ярко выраженная в нём воля к жизни и активная ненависть к мерзости её, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал всё, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью»[1]. Отличительные черты величайшего вождя — «изумительно сильная воля», «необычайная способность прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего исторически и мужественно служит вся его воля» — сочетались в Ленине со всей привлекательностью нежной человечности и душевной чистоты, с «сердечным вниманием истинного товарища, чувством любви равного к равным». Значение горьковского портрета Ленина в том, что это первая попытка гениального писателя наметить художественные контуры ленинского образа, который из века в век будет жить в искусстве свободного человечества.

А. М. Горький из-за безвременной смерти не успел реализовать свой значительнейший замысел — написать книгу о Сталине. Но творческая взволнованность Горького этой великой героической темой советского искусства и народного творчества отразилась во многих его статьях и высказываниях. С беспредельной любовью и необычайной выразительностью пишет Горький о товарище Сталине — вожде народов нашей страны, «освещённой гением Владимира Ильича Ленина, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина»[2], человека «могучей организаторской силы» и «высочайшего напряжения творческой энергии»[3]. Дружба Горького с Лениным и Сталиным, горьковская преданность большевизму вызывали бешеную ненависть фашистских негодяев и поджигателей войны, этих «безумных животных, подлежащих уничтожению». От их подлой руки погиб Горький на его боевом посту крупнейшего руководителя нашей культуры, вождя советского искусства. «После Ленина смерть Горького — самая тяжёлая утрата для нашей страны и для человечества», — так выразил В. М. Молотов на похоронах Горького горечь незабываемой потери, глубочайшую скорбь советского народа...

М. Горький принадлежит к тем писателям, истинные размеры деятельности которых постигаются в ходе истории. «Такой талант, как Горький, принадлежит всему миру», — писал в 1905 г. Анатоль

---

[1] М. Горький, В. И. Ленин, М. 1932, стр. 4.

[2] Речь на открытии Первого съезда писателей, сб. «О литературе», стр. 444.

[3] «Две пятилетки». Сб. «Несобранные литературно-критические статьи», М. 1941, стр. 519.

Франс, отметив, что ещё в начале своего творческого пути Горький оказал благотворное влияние на мировую литературу. Значение Горького для формирования литературы СССР общеизвестно — нет ни одного крупного советского писателя, который не был бы творчески обязан Горькому. Через восемь лет после его трагической гибели ещё более величественным встаёт перед нами мужественный облик борца и верного сына родины — Горького, и теперь мы как бы заново открываем в его творчестве неиссякаемый источник пламенной веры в силу нашего народа, в победу его благородных идеалов. В великой отечественной войне Горький повседневно с нами, ибо, по меткому определению Мартина Андерсена Нексе, «вместе с новой Россией он, приобретая неимоверные размеры, становится живым олицетворением нового мира». Этим новым миром будет уничтожено фашистское варварство, и грозным приговором врагам человечества гремят на весь мир слова Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина из его февральского приказа 1942 г.: «Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «если враг не сдаётся, — его уничтожают»[1]. В неимоверных трудностях войны народы Советского Союза во главе с великой русской нацией совершили невиданные в мире боевые и трудовые подвиги, — запечатленные в искусстве, они не померкнут в сознании человечества, как не померкнет имя Горького, воплотившего в своём творчестве героический образ нашего народа и его большевистской партии.

Б. Другов

---

[1] О великой отечественной войне Советского Союза, М. 1943, изд. 3-е, стр. 45.

О РУССКОМ НАРОДЕ

Я обращаюсь к вам, как человек, вышедший из народа и который никогда не потеряет с ним связи.

Воззвание к английским рабочим. 1906 г.

Я знаю русский народ и не склонен преувеличивать его достоинства, но я убеждён, я верю—этот народ может внести в духовную жизнь земли нечто своеобразное и глубокое, нечто важное для всех.

Господину Анатолю Франсу. 1906 г.

Верь в свой народ, создавший могучий русский язык, верь в его творческие силы.

Разрушение личности. 1908 г.

Он, народ этот, без помощи государства захватил и присоединил Москве огромную Сибирь, руками Ермака и понизовой вольницы, беглой от бояр.

Он, в лице Дежнева, Крашенинникова, Хабарова и массы других землепроходцев открывал новые места, проливы—на свой счёт и за свой страх.

Он же додумался на 53 года ранее Дениса Папина до изобретения паровой водоподъёмной машины—изобретённой на Урале в 1637 году.

История русской литературы. 1908—1909 гг.

Начиная с Марфы Борецкой и Морозовой, кончая женщинами раскольничьих скитов и революционных партий, мы видим перед собою образ эпический.

Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты—вот духовные данные Василисы Премудрой, великолепно и любовно очерченные старыми мастерами образа и слова, а ещё точнее—музою новейшей русской истории.

Разрушение личности. 1908 г.

Люди, которые знают, что народ есть неиссякаемый источник энергии, единственно способный претворить всё возможное—в необходимое, все мечты—в действительность,—эти люди—счастливы! Ибо в них всегда было живо творческое чувство своей органической связи с народом, ныне это чувство должно вырасти, наполнив их души великой радостью и жаждой творчества новых форм для новой культуры.

О цинизме. 1908 г.

...Русь надо любить, надо будить в ней энергию, сознание её красоты, силы, чувство собственного достоинства, надо прививать ей ощущения радости бытия...

Письмо к Л. Андрееву. 1911 г.

Смертен человек, народ бессмертен.

Телеграмма М. Горького по поводу смерти М. М. Коцюбинского. 1913 г.

И Достоевский велик, и Толстой гениален, и все вы, господа, если вам угодно, талантливы, умны, но Русь и народ её—значительнее, дороже Толстого, Достоевского и даже Пушкина, не говоря о всех нас.

Ещё о «карамазовщине». 1913 г.

Мы живём среди народа, по природе своей даровитого, и вот факт, неоспоримо подтверждающий это: ни одна страна Запада

не даёт столь высокого процента самоучек-писателей, техников, основоположников различных сект, а если это явление возможно в столь отвратительных и тяжких для развития человека условиях, каковы условия русской жизни,—мы имеем право верить в даровитость и силу духа нашего народа.

Предисловие к книге И. Морозова «Разрыв-трава». 1914 г.

Мы непоколебимо верим в молодые, ещё скрытые силы русского народа, мы верим в разум страны, в её волю к доброй, справедливой жизни.

Ответ на анкету по вопросу об антисемитизме. 1916 г.

...Я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным.

Вместо послесловия к книге «Заметки из дневника. Воспоминания». 1924 г.

...Очень мы, русские, хороший народ: чем больше живу, тем крепче убеждаюсь в этом. И если б удалось почувствовать трагическую прелесть жизни, изумительнейшую красоту деяния—далеко ушли бы мы!

Письмо к С. Н. Сергееву-Ценскому 18 сентября 1927 г.

РУССКАЯ ПРИРОДА

Быстро несётся вниз по течению красивый и сильный «Ермак», буксирный пароход купца Гордеева, и по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега Волги,—левый, весь облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как пышный, зелёный ковёр, а правый взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в суровом покое.

Между ними величаво простёрлась широкогрудая река; бесшумно, торжественно и встороплнво текут её воды: горный берег отражается в них чёрной тенью, а с левой стороны её украшают золотом и зелёным бархатом песчаные каймы отмелей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах являются селенья, солнце сверкает на стёклах окон изб и на парче соломенных крыш, сияют в зелени деревьев кресты церквей, лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из трубы завода вьётся в небо. Толпы ребятишек в синих, красных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками пароход, разбудивший тишину на реке, из-под колёс его к ногам детей бегут весёлые волны. Вот куча ребят уселась в лодку, они спешно гребут на середину реки, чтоб покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев, иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжёлым вздохом доносится заунывная песня:

О-э — о-о — ещо-о — разок!

Пароход обгоняет плоты, заплёскивает их волной. Брёвна ходуном ходят под ударами набежавших волн; плотовщики в

синих рубахах, пошатываясь на югах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица-беляна боком идёт по реке: жёлтый тёс, нагружённый на ней, блестит золотом и тускло отражается в мутной вешней воде. Пассажирский пароход идёт навстречу и свистит—гулкое эхо свиста прячется в лесу, в ущельях горного берега, умирает там. Посредине реки сшибаются волны двух судов, бьются о борта их, и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зелёные ковры озими, бурые полосы земли под паром и чёрные—вспаханной под яровое. Птицы, маленькими точками, вьются над ними, ясно видны на голубом пологе неба; стадо пасётся невдалеке,—издали оно кажется игрушечным; маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на падог, и смотрит на реку.

Всюду блеск, простор и свобода, весело-зелены луга, ласково-ясно голубое небо; в спокойном движении воды чуется сдержанная сила, в небе над нею сияет щедрое солнце мая, воздух напоён сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега всё идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и всё новые картины открываются на них.

На всём вокруг лежит отпечаток медлительности: всё—и природа и люди—живёт неуклюже, лениво,—но кажется, что за ленью притаилась огромная сила—сила непобори́мая, но ещё лишённая сознания, не создавшая себе ясных желаний и целей... И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладёт на весь красивый простор её тени грусти. Покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышатся даже в крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку... Заунывные песни точно просят о помощи... Порой в них звучит удаль отчаяния... Река отвечает песням вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьев... Тишина...

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри сказок.

Фома Гордеев. 1899 г.

— И вот—река Волга-матушка, братец ты мой! Ширины она огромной, глубока, светла и течёт... как будто в грудь тебе течёт, али бы из груди твоей льётся, это даже невозможно понять, до чего хорошо, когда лежит пред тобою широкий путь водный, солнышком озолоченный! И бегут по нём, как лебедя, косовые лодки грудастые, однокрылые, под одним, значит, белым парусом. Золотые беляны с тёсом вальяжно, как дворянки в кринолинах, не спеша спускаются; тут тебе мокшаны и коломенки, и разного фасона барки да баржи, носа свои пёстрые вверх подняв, весело бегут по синей-то реке, как на бархате шёлком вышиты. На иных паруса кумачом оторочены, мачты-дерева вертунами золочёными украшены; где—стрела, где—петух, где—рука с мечом, это—чтобы ветер показывать, а больше—для красы. Которые палубы крышами крыты, а по крышам коньки резаны, тоже кочета или вязь фигурная, и всё разными красками крашено, и флажки цветные на мачтах птицами бьются; всё это на реке, как в зеркале, и всё движется, живёт,—гуляй, душа!..

...— Идёшь ты на барже, а встречу тебе берега плывут, деревни, сёла у воды стоят, лодки снуют словно ласточками, рыбаки снасть ставят, по праздникам народ пестро кружится, бабы сарафаны полымем горят—мужики-то поволжские сыто живут, одеваются нарядно, бабы у них прирабатывают, деньги—дороги, одежда—дешева! Взглянешь, бывало, на берег, вспыхнет сердце—загогочешь во всю силу: эй, вы, жители! Здорово ли живём? Бечевой бурлаки, согнувшись, идут, как баранки на мочало вздетые,—маленькие они издаля-то! Песни гудут, ровно бы большущие пчёлы невидимо летят. А ночью—потемнеет река, осеребрится месяцем, на привалах огни засветятся, задрожат на чёрной-то воде, смотрят в небо как со дна реки, а в небе—звёзды эти наши русские, и так мило всё душе, такое всё родное человеку! Обнимает Волга сердце доброй лаской, будто говорит тебе: «Живи-де, браток, не тужи! Чего там?» Волга, Матвей, это уже воистину за труд наш, для облегчения от бога дана, и как взглянешь на неё—окрылится сердце радостью, ничего тебе не хочется, не надобно, только бы плыть—вот какая разымчивая река!

Жизнь Матвея Кожемякина. 1910 г.

Под носом баржи—белый крылатый вал, разрезанный надвое; он волнисто бежит к берегам.

В луговой стороне, должно быть, горят торфянки, там, над чёрными лесами, нависло опаловое облако, а может, его надышали болота.

С правой стороны берег высок, обрывист, голые глинистые скаты, но иногда они разрезаны оврагом, в нём—в тени—прячутся осины и берёзы.

Тихо, жарко, безлюдно на земле, в мутно-синем, выгоревшем небе—раскалённое добела солнце.

Без конца расплылись луга, кое-где среди них одиноко стоят, заснув, деревья, звездою дневной горит над ними крест сельской колокольни, вскинуты в небо серые крылья мельницы, далеко от берега видны парчёвые скатерти зреющих хлебов. Люди редко видны.

Всё вокруг немного слинявшее, спокойное и трогательно простое; всё так близко, понятно и мило душе. Смотришь на медленные, неуверенные изменения горного берега, на неизменную широту лугов, на зелёные хороводы леса,—они подходят к воде и, заглянув в зеркало её, снова тихо уплывают в даль,—смотришь и думаешь, что не может быть на земле столь просто и ласково красивых мест, каковы эти вот—тихие берега реки.

Уже на прибрежных кустарниках виден жёлтый лист, но всё вокруг улыбается двойственной, задумчивой улыбкой молодухи, для которой пришла пора впервые родить—и страшит её это, и радует.

На пароходе («По Руси»). 1913 г.

Вспомнился мне человек на пристани Пьяного Бора, на Каме, высокий, русый молодец с лицом озорника и хитрыми глазами. Было воскресенье, жаркий праздничный день, когда всё с земли смотрит на солнце своей лучшей стороной и точно говорит ему, что не даром оно потратило светлую силу, живое золото своё. Человек стоял у борта пристани, одет в новую, синего сукна поддёвку, в новом картузе набекрень, в ярко начищенных сапогах, он смотрел на рыжую воду Камы, на изумрудное

Закамье в серебряной чешуе мелких озёр, оставленных полноводьем,—там, за Камой, солнце упало на луга и раскололось в куски. Человек улыбался; всё хмельней становилась улыбка молодого—в тёмной бородке—лица, всё ярче разгоралось оно радостью, и вдруг, сорвав картуз с головы, парень сильным размахом шлёпнул его в воду золотой реки и закричал:

— Эх, Кама, матушка родная,—люблю! Не сдам!

В уцелье. («По Руси»). 1913 г.

Мы шли узкой тропинкой, по ней взад и вперёд ползали маленькие красные змейки, извиваясь у нас под ногами. Тишина, царившая вокруг, погружала в мечтательно-дремотное состояние. Следом за нами по небу медленно двигались чёрные стаи туч. Сливаясь друг с другом, они покрыли всё небо сзади нас, тогда как впереди оно было ещё ясно, хотя уже клочья облаков выбежали в него и резво неслись куда-то вперёд, обгоняя нас. Далеко где-то рокотал гром, его ворчливые звуки всё приближались. Падали капли дождя. Трава металлически шелестела.

Нам негде было укрыться. Вот стало темно, и шелест травы зазвучал громче, испуганно. Грянул гром—и тучи дрогнули, охваченные синим огнём. Крупный дождь полился ручьями, и один за другим удары грома начали непрерывно рокотать в пустынной степи. Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, ложилась на землю. Всё дрожало, волновалось. Молнии, слепя глаза, рвали тучи... В глубоком блеске их вдали вставала горная цепь, сверкая синими огнями, серебряная и холодная, а когда молнии гасли, она исчезала, как бы проваливаясь в тёмную пропасть. Всё гремело, вздрагивало, отталкивало звуки и родило их. Точно небо, мутное и гневное, огнём очищало себя от пыли и всякой мерзости, поднявшейся до него с земли, и земля, казалось, вздрагивала в страхе перед гневом его...

Шакро ворчал, как испуганная собака. А мне было весело, я как-то приподнялся над обыкновенным, наблюдая эту могу-

чую мрачную картину степной грозы. Дивный хаос увлекал и настраивал на героический лад, охватывая душу грозной гармонией...

И мне захотелось принять участие в ней, выразить чем-нибудь переполнившее меня чувство восхищения перед этой силой. Голубое пламя, охватывавшее небо, казалось, горело и в моей груди; и—чем мне было выразить моё великое волнение и мой восторг? Я запел—громко, во всю силу. Ревел гром, блистали молнии, шуршала трава, а я пел и чувствовал себя в полном родстве со всеми звуками... Я—безумствовал; это простительно, ибо не вредило никому, кроме меня... Буря на море и гроза в степи!—я не знаю более грандиозных явлений в природе.

Мой спутник. [illegible]

...Я шагаю не торопясь по мягкой серой дороге между высоких—по грудь мне—хлебов; дорога так узка, что колосья опачканы дёгтем, спутаны, поломаны и лежат в колеях раздавленные.

Шуршат мыши, качается и никнет к сухой земле тяжёлый колос; в небе мелькают стрижи и ласточки, значит—где-то близко река и жильё. Глаза, блуждая в золотом море, ищут колокольни, поднятой в небо, как мачта корабля, ищут деревьев, издали подобных тёмным парусам, но—вокруг ничего не видать, кроме парчёвой степи: мягкими увалами она опускается к юго-западу, пустынна, как небо, и так же тиха.

В степи чувствуешь себя, как муха на блюде—в самом центре его, чувствуешь, что земля живёт внутри неба в объятии солнца, в сонме звёзд, ослеплённых его красотою.

Вот оно—большое, рдяно-красное—далеко впереди на синем краю неба важно опускается в белоснежные бугры облаков; колосья осыпаны розовой пылью заката, васильки уже потемнели, и в предвечерней тишине ясно слышишь всё, о чём поёт земля.

В небе веером раскинуты красные лучи, один из них касается моей груди и, точно жезл Моисея, вызывает к жизни

горячий поток мирных чувств: хочется крепко обнять вечернюю землю и говорить ей певучие, большие, никем не сказанные слова.

Посеяны звёзды в небе и земля—звезда; посеяны люди на земле и я среди них, чтобы бесстрашно ходить по всем дорогам, видеть всякое горе, всю радость жизни и вместе с людьми пить мёд и яд.

Покойник. («По Руси»). 1913 г.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали жёлтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи; я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и—обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих—много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает жёлто-красный горный дятел-расудук, стучит чёрным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни—гости с далёкого севера—клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождём, дымные облака, от них ползут тени по зелёным скатам, где растёт мёртвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный мёд», который в древности едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчёлы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш,—тонкую лепёшку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой—макал куски хлеба в котелок, полный мёда, и ел, любуясь лениво игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе, точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы,—они же всегда и великие грешники—

построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести своё прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у туркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и всё—снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твоё—от Твоих—Тебе!

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами весёлых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их—живою тканью многообразных деревьев, и—безумно красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность—быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед красотою!

Рождение человека. («По Руси»). 1912 г.

...Мы вышли из монастыря на рассвете и вот—шагаем. Мысленно я поднимаюсь вверх и смотрю оттуда: берегом моря, по узкой тропе идёт пара длинных людей; один—в серой солдатской шинели и шляпе с прорванным верхом; другой—в рыжем кафтане и плисовой скуфье. Под ноги им плещет белой пеной безграничное море, ползут по камню дороги высушенные солнцем ленты водорослей, кружатся золотые листья. Ветер шумит, качая и толкая путников, летят над ними облака, с правой руки вознеслись в небо горы, и облака жмутся к ним устало и бессильно; слева—распростёрлась пустыня, вся в белом кружеве; рыщет над нею ветер и гонит прозрачные столбы водной пыли.

В бурные осенние дни на берегу моря как-то особенно весело и бодро: песни ветра и волн, быстрый бег облаков, и в синих провалах неба купается солнце, как увядающий чудесный цветок—в этом видимом хаосе чувствуешь скрытую гармонию нетленных сил земли—маленькое человечье сердце объято мятежным пламенем и, сгорая, кричит миру:

— Я тебя люблю!

Страшно хочется жить,—так жить, чтоб смеялись старые камни и белые кони моря ещё выше вставали бы на дыбы; хочется петь хвалебную песню земле, чтоб она, опьянев от похвал, ещё более щедро развернула богатства свои, показала бы красоту свою, возбуждённая любовью одного из своих созданий—человека, который любит землю, как женщину, и охвачен желанием оплодотворить её новою красотою.

Калинин. («По Руси») 1913 г.

ПОЭЗИЯ ТРУДА. РУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Если бы я был критиком и писал книгу о Максиме Горьком, я бы сказал в ней, что сила, которая сделала Горького тем, что он есть... заключается в том, товарищи, что он первый в русской литературе, и, может быть, первый в жизни вот так, лично,—понял величайшее значение труда, труда, образующего всё ценнейшее, всё прекрасное, всё великое в этом мире.

Речь на торжественном заседании Тбилисского совета. 1928 г.

Работал он [Коновалов] артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларём, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала,—видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату,—я боялся, что он насадит их друг на друга; но когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати кораваев—пышных, румяных и высоких—не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своём роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из

печи выходили правильно круглые, высокие, «подъёмистые», в меру румяные, с тонкой, хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный коровай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...

И мне было приятно смотреть на этого гигантского ребёнка, влагавшего всю душу в работу свою—как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Коновалов. 1897 г.

...Ветер резкими порывами летал над рекой, и, покрытая бурыми волнами, река судорожно рвалась навстречу ветру с шумным плеском, вся в пене гнева. Кусты прибрежного ивняка низко склонялись к земле, дрожащие, гонимые ударами ветра. В воздухе носился свист, вой и густой, охающий звук, вырывавшийся из десятков людских грудей:

— Идёт—идёт—идёт!

У горного берега стояли на якорях две порожние баржи, высокие мачты их, поднявшись в небо, тревожно покачивались из стороны в сторону, выписывая в воздухе невидимый узор. Палубы барж загромождены лесами из толстых брёвен; повсюду висели блоки; цепи и канаты качались в воздухе; звенья цепей слабо брякали... Толпа мужиков в синих и красных рубахах волокла по палубе большое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь:

— Идёт—идёт—идёт!

К лесам тоже прилепились синие и красные комья; ветер, раздувая рубахи и порты, придавал людям странные формы, делая их то горбатыми, то круглыми и надутыми, как пузыри. Люди на лесах и палубах что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди, везде мелькали большие руки, с засученными по локти рукавами рубах. Ветер разносил над рекой бодрый шум: пила грызла дерево, захлёбываясь от злой радости; сухо кряхтели брёвна, раненные топорами; болезненно трещали доски,

раскалываясь под ударами; ехидно взвизгивал рубанок. Железный лязг цепей и стопущий скрип блоков сливались с шумом воли, ветер гулко выл и гнал по небу тучи.

— Ре-ебя-а-тушки, бе-ерём, давай!

— Разуда-алый ещё-о разок!..—просительно выводил кто-то высоким голосом.

Фома, красивый и стройный, в коротком драповом пиджаке и в высоких сапогах, стоял, прислонясь спиной к мачте, и, дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался работой. Шум вокруг него вызывал и в нём желание кричать, возиться вместе с мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать—заставить всех обратить на себя внимание и показать всем свою силу, ловкость, живую душу в себе. Но он сдерживался и стоял молча, неподвижно: ему было стыдно. Он хозяин тут над всеми, и если примется работать сам—никто не поверит, что он работает просто из охоты, а не для того, чтобы подогнать их, показать им пример.

Русый и кудрявый парень с расстёгнутым воротом рубахи то и дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с топором в руке; он подпрыгивал, как разыгравшийся козёл, рассыпал вокруг себя весёлый, звонкий смех, шутки, крепкую ругань и работал без устали, помогая то одному, то другому, быстро и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и деревом. Фома упорно следил за ним и чувствовал зависть к этому парню.

— Счастливый, должно быть...—думал Фома. Эта мысль вызывала в нём острое желание оборвать парня, сконфузить его. Все вокруг охвачены пылом спешной работы, дружно и споро укрепляли леса, устраивали блоки, готовясь поднять со дна реки затонувшую баржу; все были бодро веселы и—жили. Он же стоял в стороне от них, не зная что делать, ничего не умея, чувствуя себя ненужным в этом большом труде. Обидно было ему чувствовать себя лишним среди людей, и чем больше он присматривался к ним, тем более крепла эта обида. Его колола мысль, что, ведь,—для него всё это делается, а однако он тут ни при чём...

— Где же моё место?—угрюмо думалось ему.—Где моё дело?..

Подрядчик, маленький мужичок с острой седенькой бородкой и узенькими глазками на сером сморщенном лице, подошёл к нему и сказал негромко, с какой-то особенной ясностью в словах:

— Всё изготовили, Фома Игнатыч, всё теперь как следовает... Благословясь—начать бы!..

— Начинай...—кротко сказал Фома, отвёртываясь в сторону от проницательного взгляда узких глаз мужика.

— Вот и слава тебе, господи!—сказал подрядчик, неторопливо застёгивая поддевку и приосаниваясь. Потом он, медленно поворачивая голову, оглядел леса на баржах и звонко крикнул:

— По-о местам, ребятушки!

Мужики живо столпились в отдельные плотные группы у воротов, по бортам, и говор их умолк. Некоторые ловко взобрались на леса и смотрели оттуда, держась за верёвки.

— Смотри, ребята!—раздавался звонкий и спокойный голос подрядчика.—Всё ли как быть надо? Придёт пора бабе родить—рубах неколи шить... Ну—молись богу!

Бросив картуз на палубу, подрядчик поднял лицо к небу и стал истово креститься. И все мужики, подняв головы к тучам, тоже начали широко размахивать руками, осеняя груди знамением креста. Иные молились вслух; глухой, подавленный ропот примешался к шуму волн:

— Господи благослови!.. Пресвятая богородица... Никола угодник...

Фома слушал эти возгласы, и они ложились на душу ему, как тяжесть. У всех головы были обнажены, а он забыл снять картуз, и подрядчик, кончив молиться, внушительно посоветовал ему:

— Попросить бы и вам господа-то...

— Ты знай своё дело,—меня не учи!—сердито взглянув на него, ответил Фома. Чем дальше шло дело—тем тяжелей и обидней было ему видеть себя лишним среди спокойно уверенных в своей силе людей, готовых поднять для него несколько десятков тысяч пудов со дна реки. Ему хотелось, чтобы их постигла неудача, чтобы все они сконфузились перед ним, в голове его мелькала злая мысль:

— Может, ещё цепи порвутся...

— Слушай!—кричал подрядчик. И вдруг, всплеснув руками в воздухе, он пронзительно закричал:

— По-о-ошё-о-ол!

Рабочие подхватили его крик, и все в голос, возбуждённо и с напряжением закричали:

— По-ошё-ол! Идё-от...

Блоки визжали и скрипели, гремели цепи, напрягаясь под тяжестью, вдруг повисшей на них, рабочие, упёршись грудями в ручки ворота, рычали, тяжело топали по палубе. Между барж с шумом плескались волны, как бы не желая уступать людям свою добычу. Всюду вокруг Фомы натягивались и дрожали напряжённо цепи и канаты, они куда-то ползли по палубе мимо его ног, как огромные серые черви, поднимались вверх, звено за звеном, с лязгом падали оттуда, а оглушительный рёв рабочих покрывал собой все звуки.

— Ве-есь по-ошёл, весь пошёл—пошё-ол...—пели они стройно и торжествующе. А в густую волну их голосов, как нож в хлеб, вонзался и резал её звонкий голос подрядчика:

— Ребяту-ушки-и! Разо-ом... разо-ом...

Фомой овладело странное волнение: ему страстно захотелось влиться в этот возбуждённый рёв рабочих, широкий и могучий, как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа и буйный плеск волн. У него от силы желания выступил пот на лице, и вдруг, оторвавшись от мачты, он большими прыжками бросился к вороту, бледный от возбуждения.

— Разо-ом! разо-ом!..—кричал он диким голосом. Добежав до ручки ворота, он с размаха ткнулся об неё грудью и, не чувствуя боли, с рёвом начал ходить вокруг ворота, мощно упираясь ногами в палубу. Что-то горячее лилось в грудь ему, заступая место тех усилий, которые он тратил, ворочая рычаг. Невыразимая радость бушевала в нём и рвалась наружу возбуждённым криком. Ему казалось, что он один, только своей силой ворочает рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его всё растёт. Согнувшись и опустив голову, он, как бык, шёл навстречу силе тяжести, откидывавшей его назад, но уступавшей ему всё-таки. Каждый шаг вперёд всё больше возбуждал

его, потраченное усилие тотчас же заменялось в нём наплывом жгучей гордости. Голова у него кружилась, глаза налились кровью, он ничего не видел и лишь чувствовал, что ему уступают, что он одолевает, что, вот, сейчас он опрокинет силой своей что-то огромное, заступающее ему путь,—опрокинет, победит и тогда вздохнёт легко и свободно, полный гордой радости. Первый раз в жизни он испытывал такое одухотворяющее чувство и всей силой голодной души своей глотал его, пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующих криках в лад с рабочими.

— Ве-есь по-ошёл, весь пошёл, пошё-ол...

Фома Гордеев. 1899 г.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце моё; мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождём. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

— Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в чёрную

кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

— Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом—начинай!

И тяжёлые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи,—с гиком, рёвом, с прибаутками. Вокруг меня с лёгкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжёлые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались чёрные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырёхпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с весёлым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятие женщины.

Большой бородатый человек в поддёвке, мокрый, скользкий — должно быть, хозяин груза или доверенный его—вдруг заорал возбуждённо:

— Молодчики—ведёрко ставлю! Разбойнички—два идёт! Делай!

Несколько голосов сразу, со всех сторон тьмы густо рявкнули:

— Три ведра!

— Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы ещё усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я, и всё вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя—месяца, годы, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места, куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут, ещё, ветер разодрал тяжёлую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца—его встретили дружным рёвом весёлые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлечённых ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъярённой силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребёнок в море, а дождь превратился в ливень.

— Шабаш!—крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

— Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождём и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Мои университеты. 1923 г.

...Мне вспоминаются двое горожан:

«Ф. Калугин и З. Небей».

«Часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее».

Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина, по сторонам двери пыльные окна, у одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на жёлтом черепе и с лупой в глазу; круглолицый, плотный, он почти непрерывно улы-

бается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седою щёткой усов. У другого окна—З. Небей, курчавый, чёрный, с большим, кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой; сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и порою, неожиданно кричит басом:

— Тра-та-там, там, там!

За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колёса, аристоны, глобусы, всюду на полках металлические вещи разных форм и множество часов качает маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но моё длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками—гонят прочь. Уходя, с завистью думаю:

— Какое счастье уметь всё делать!

Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить всё на свете. Это—люди!

Мои университеты. 1923 г.

А. Н. АЛЕКСИН

Таких случаев немало было в его практике, вообще крайне удачной. Профессор Бобров, хирург, несколько раз приглашал его на консультации и даже на операции.

— Ваш приятель—удивительно счастливый врач,—говорил мне Бобров,—у него совершенно исключительная интуиция, не знаю врача, у которого так тонко было бы развито чутьё особенностей индивидуальности каждого больного.

Так же высоко оценивал талантливость Алексина сифилидолог Тарновский.

— Пора бы вам, батенька, на кафедру, в университет, лентяй вы, да-с!

Антон Павлович Чехов очень уважал Алексина как человека, но, должно быть, чувствуя, что этот человек не любит его, говорил:

— Ему слонов лечить, а не людей.

Видел я, как этот грубый вологодский мужик плакал от радости. В амбулаторию к нему гречанка принесла трёхлетнюю девочку с огромным нарывом на шее, девочка умирала, лицо у неё было синее, глаза, синенькие и жалобные, закатывались, дыхание короткое, жадно хватающее воздух. Выхватив ребёнка из рук матери, Алексин погрозил ей кулаком, крича:

— Ты бы, дура, ещё подождала притти,—у-у!

И непозволительно обругал всех греков, включая древних, а потом начал орать:

— Софья, стол!

Огромная, уродливая, старая—великолепная душа—Софья Витючнева живо приготовила всё потребное для операции, и Алексин тотчас же, рыча, дико ругаясь, начал резать шею ребёнка. Тут был действительно потрясающий момент: когда облитая обильным гноем и кровью грудка девочки высоко поднялась, вздохнув свободно, и мертвенная синеватость лица стала исчезать, и полузакрытые глазки её вдруг открылись, заблестели радостью возвращения к жизни,—из дерзких, насмешливых глаз её спасителя полились слёзы, он крикнул, не скрывая восторга:

— Софья, вытри мне морду, видишь—пот!

Она, улыбаясь, вытерла глаза и щёки его рукавом халата, отвернувшись, чтобы скрыть свои слёзы, а доктор, накладывая повязку, бормотал:

— Что? Мигаешь? Ага-а. То-то...

Потом, вымыв руки, одною рукой сунул гречанке три рубля, а другой, дергая её за ухо, сказал:

— Следи за ребёнком, следи, блоха!

Через несколько дней я зашёл к нему в больницу, он держал весёлую, черноволосенькую, синеглазую девочку на коленях у себя: играя с нею, он хвастливо, с гордостью сказал:

— Вот она! Видишь какая?

А идя со мною по набережной Ялты в сад, он говорил:

— Дать жизнь ребёнку, это и дурак может, а вот вырвать человека из лап смерти, это может только наука.

Я несколько раз присутствовал при его операциях, он де-

лал их всегда, исключая случая с девочкой, хладнокровно и даже с некоторой щеголеватостью мастера, уверенного в своём искусстве.

— Хуже всего переносят боль греки, затем наши крестьяне, терпеливее—татары,—говорил он.

Был он добр, хорошо, по-мужицки, незатейливо умён, очень терпимо относился к людям и небрежно к себе. Любил музыку, хорошо знал и понимал её, играл на пианино и, обладая хорошим голосом, нередко с успехом пел в «благотворительных» концертах. Книг читал мало даже и по своей специальности, а в часы отдыха любил читать ноты; ляжет на диван, почему-то сняв один ботинок с ноги, возьмёт Бетховена, Моцарта, Баха или какую русскую оперу и читает, молча или напевая с закрытым ртом. Его очень любили женщины, он щедро платил им тем же и, на протяжении двадцати с лишком лет моей с ним дружбы, ни один из его романов не окончился драмой. У него была очень развита здоровая брезгливость к излишествам лирики и «психологии».

— Избыток хотя бы и драгоценных камней уже пошлость,— говорил он.

Но в то же время он обладал тонко разработанным чутьём эстетики сексуализма и, когда говорил о любимой женщине, я всегда чувствовал, что он говорит о партнёрше, с которой ему предречено спеть дуэт во славу радости жизни.

Его первой женою была очень известная в своё время концертная певица, контральто Якубовская, она умерла после родов, он говорил о ней всегда с печалью и морщась при воспоминании о той глубокой боли, которую причинила ему смерть, похитив женщину.

— Я, знаешь, решил итти на сцену, но когда она умерла, сказал себе: нет, буду лечить людей.

Он лечил композитора Калинникова, безнадёжно больного.

— Умрёт, чорт возьми,—говорил он, крепко потирая лоб.— Невыносимо досадно, а спасти—нельзя. Знал бы ты, какой это талант... Если б я встретил его месяца на три раньше, можно бы протянуть несколько лет. А теперь ткань лёгких расползается у него, как гнилая тряпка.

Был он сын сельского попа Вологодской губернии, в университет пошёл против воли отца.

— Говорю ему: отец, я хочу в университет учиться.

— Прокляну!

— Серьёзно?

— Как бог свят—прокляну!

— Что ж, проклинай.

Не проклял, хотя был мужик твёрдого характера.

Был у него слуга Григорий, черноволосый тамбовский мужик, очень умный и влюблённый в доктора, как нянька в ребёнка. Часто вечерами он приходил в кабинет Алексина и спрашивал, стоя в дверях:

— Можно с вами поговорить?

— Иди, садись, чорт.

Григорий садился на диван у ног Алексина и заводил философическую беседу:

— Не понимаю я, Александр Николаевич, какой у бога расчёт детей морить? Экономии не вижу я в этом...

А. Н. Алексин умер так же легко и просто, как жил.

Мне рассказывали, что часа за два до смерти своей он пришёл к себе в санаторию, настроенный бодро, весело, и как всегда начал шутить с больными, поддразнивать их. Вероятно, он говорил им то же самое, что говорил мне двадцать семь лет тому назад, в начале нашей крепкой дружбы.

Он как бы стыдился своего ума.

Он часто повторял:

— Наиболее деятельным союзником болезни является уныние больного. Он старался побороть это уныние, внушая больному бодрость грубовато-добродушным издевательством над страхом смерти и всегда достигал желаемого: больной в своей борьбе за жизнь чувствовал в этом докторе умного и верного союзника.

В свой последний день он вышутил больных за то, что, боясь весенней свежести, сидели, закрыв дверь в парк, сам открыл дверь, сел обедать с больными, а когда ветер притворил дверь, он, выругавшись, хотел встать со стула и почувствовал, что у него отнялась нога.

— Это, кажется, кондрашка,—сказал он и лишился сознания.

Все, кто знали Александра Алексина, согласятся, что это был человек интересный и по-русски разнообразно талантливый. К медицине он относился несколько скептически, возможно, что именно поэтому он так удачно лечил. Это был идеальный русский земский врач, «мастер на все руки», хирург и гинеколог, окулист и «спец» по туберкулёзу. Его интуиция в деле распознания болезней была поразительна. Помню, московская купчиха привезла в Ялту сына, девятилетнего мальчика, у него болела голова, он страдал рвотой, часто под влиянием боли кружился на одном месте, на его мучнисто бледном личике тускло светились серые глаза с расширенными очень жутко зрачками. Три доктора, Бородулин, старик Штангеев, автор солидной книги «Лечение лёгочных болезней», и ещё кто-то, определили менингит. Алексин не согласился с их диагнозом.

Его плотная, несколько тяжёлая медвежья фигура, грубоватое лицо, прямой, пристальный взгляд умных, насмешливых глаз и малословная, резковатая речь всегда возбуждали в людях доверие к нему, женщины же особенно легко подчинялись влиянию его воли, как бы сразу чувствуя его духовное и физическое здоровье. Мать больного мальчика, узнав, что Алексин не согласился с диагнозом коллег, привела к нему мальчика, это было при мне:

— Я верю вам, лечите его.

Он угрюмо предупредил её, что хотя и не согласен с товарищами в определении болезни, но не понимает её. Мать плакала, кричала, пыталась даже встать на колени, у неё были совершенно безумные глаза, дрожало лицо, она щёлкала зубами. Подняв её с пола, мы положили на диван, Алексин дал ей вина с водой, наговорил ей, попутно, грубостей—он часто грубил, чтоб скрыть своё волнение,—потом сказал:

— Ну, не кричите! Прошу понять: врачи не делают ни чудес, ни фокусов.

Помню, как неприятно поразило меня его дальнейшее поведение, он обращался с мальчиком так, что напомнил мне описания шаманства: громко шмыгая носом,—его привычка в затруднительных случаях, в моменты смущения,—сидя в кресле,

отчаянно дыша дымом папиросы, он заставил больного бегать по столовой, потом, зажав его в коленях, начал говорить с ним о каких-то детских пустяках; пощекотал подмышками, заставив мальчугана визжать. Мать спросила о чём-то, он грубо ответил:

— Это не ваше дело.

Он увёл мальчугана в кабинет к себе, вызвал там у него обильную рвоту и мальчуган, давясь, изрыгнул целый ком глистов.

— Гришка,—орал Алексин, испачканный, возбуждённый до смешного, расталкивая стулья,—убирай!

А мальчик, извиваясь на коленях матери, стонал в приступах рвоты и всё извергал глисты,—отвратительно было видеть обилие их.

Вечером, когда мы пили вино, я спросил:

— Как ты узнал, что это глисты?

— Да я не узнал, а попробовал,—сказал он, усмехаясь. Был страшно обрадован и рассказал мне, что известный гинеколог Снегирёв предложил ему проводить в Москву, в клинику на операцию, даму, у которой он констатировал внематочную беременность.

— Еду я с ней и, знаешь, не верю в эту беременность, а она как на смерть собралась. Я и говорю ей: а я вот не верю в вашу болезнь. В то время я был молодой ещё, практиковал всего пятый год, однако, она, вижу, слушает меня с надеждой. Дайте, говорю, осмотрю вас. Согласилась. Остановились в Курске, в гостинице, стал я осматривать её и нечаянно прорвал нарыв на матке. Вот—испугался! Ну, думаю, убил бабу. А она, вижу, превосходно чувствует себя. Пролежала четверо суток, поехали дальше. Привёз я ее не в клинику, а к мужу, он мне—полторы тысячи гонорария отвалил. Пили, конечно, с ним дня три по всем кабакам. Снегирёв обиделся: вы, говорит, дерзкий молодой человек, могли убить её. Ну, конечно, мог...

[*1921—1923 гг.?*]

Давно я не переживал ничего подобного.

В чистеньком концертном зале, полном аромата смолистого, свежего дерева, было сначала очень скучно. Публики было мало, и публика была всё плохая: кафе-кабацкие завсегдатаи, которым днём нечего делать и которые от скуки лезут всюду, куда их пускают, «интернациональные дамы» из гостиниц, одетые с резким шиком экспоненты, тоже изнывающие от безделья, кое-где среди них скромно ютятся серенькие фигуры учителей и учительниц; два-три студента, несколько журналистов, с утомлёнными лицами и рассеянными взглядами... В общем — менее половины зала. На эстраде высокий человек с чёрной бородой и в сквернюм сюртуке стоит, неуклюже облокотясь о что-то вроде кафедры, и тусклым языком, ломаными, угловатыми фразами, скучно, длинно, бесцветно рассказывает о том, кто такая Ирина Андреевна Федосова. Это учитель олонецкой гимназии Виноградов, человек, который знакомит Русь с её неграмотной, но истинной поэтессой.

— Орина,—усердно надавливает он на «о»,—с четырнадцати лет начала вопить. Она хрома, потому что, будучи восьми лет, упала с лошади и сломала себе ногу. Ей девяносто восемь лет отроду. На родине её известность широка и почётна—все её знают, и каждый зажиточный человек приглашает её к себе «повопить» на похоронах, на свадьбах, а иногда и просто так, на вечеру... на именинах примерно. С её слов записано более тридцати тысяч стихов, а у Гомера в «Илиаде» только двадцать семь тысяч восемьсот пятнадцать...

Он с торжеством специалиста осматривает публику и продолжает:

— Стих у неё—пятистопный хорей. Первый, кто её открыл для России,—преподаватель Петрозаводской семинарии Барсов. Он ещё в 1872 году издал сборник её стихов и причитаний, и этот сборник был удостоен Уваровской премии. Славянская-Агренева тоже издала два тома её воплей, и в скором времени государственный контролёр Филиппов, любитель и знаток древней русской поэзии, выпустил четыре тома импровизаций, при-

читаний, воплей, былин, духовных, обрядовых и игровых песен Федосовой. В ней— неисчерпаемый запас старины, и она ещё многое перезабыла. Напевы её воплей, самые характерные, записаны фонографом и хранятся в императорском Географическом обществе...

Кажется, он кончил. Публика не слушала его.

— Орина Андреевна!—кричит он. Где-то сбоку открывается дверь, и с эстрады публике в пояс кланяется старушка низенького роста, кривобокая, вся седая, повязанная белым ситцевым платком, в красной ситцевой кофте, в коричневой юбке, на ногах тяжёлые, грубые башмаки. Лицо—всё в морщинах, коричневое... Но глаза—удивительные! Серые, ясные, живые— они так и блещут умом, усмешкой и тем ещё, чего не встретишь в глазах дюжинных людей и чего не определишь словом.

— Ну, вот, бабушка, как ты—петь будешь или рассказывать?—спрашивает Виноградов.

— Как хочешь! Как угодно обществу!—отвечает старуха-поэтесса и вся сияет почему-то.

— Расскажи-ка про Добрыню, а то петь больно долго.

Учитель чувствует себя совсем как дома—плюёт на эстраду, опускается в кресло рядом со старухой и, широко улыбаясь, смотрит на публику.

Вы послушайте-тко, люди добрые,
Да былину мою — правду-истину!..

Раздаётся задушевный речитатив, полный глубокого сознания этой правды-истины и необходимости поведать её людям. Голос у Федосовой ещё очень ясный, но у неё нет зубов, и она шепелявит. Но этот возглас так оригинален, так непохож на всё кафе-кабацкое, пошлое и утомительно однообразное в своём разнообразии, на всё то, что из года в год и изо дня в день слушает эта пестробрючная и яркоюбочная публика, воспитанная на родоно-омоно-тулонских былинах, что её как-то подавляет этот задушевный голос неграмотной старухи. Шопот прекращается. Все смотрят на маленькую старушку, а она, утопая в креслах, наклонилась вперёд к публике и, блестя глазами,

седая, старчески красивая и благородная, и ещё более облагороженная вдохновением, то повышает, то понижает голос и плавно жестикулирует сухими, коричневыми, маленькими руками.

— Уж ты гой еси, родна матушка! —
Тоскливо молвит Добрыня. —
Надоело мне пить да бражничать!
Отпусти меня во чисто поле
Попытать мою силу крепкую
Да поискать себе доли-счастия!

По залу носится веяние древности. Растёт голос старухи и понижается, а на подвижном лице, в серых ясных глазах, то тоска Добрыни, то мольба его матери, не желающей отпустить сына во чисто поле. И как будто позабыв на время о «королевах бриллиантов», о всемирно известных исполнительницах классических поз, имевших всюду громадный успех, публика разражается громом аплодисментов в честь полумёртвого человека, воскрешающего последней своей энергией нашу умершую старую поэзию.

— Теперь вопль вдовы по муже...—говорит Виноградов...

Публика молчит. Откашлявшись, Федосова откидывается в глубь кресла и, полузакрыв глаза, высоко поднимает голову.

Лю-убимый ты мой м-уженька-а-а...

Сила страшной, рвущей сердце тоски в этом вопле. Нота за нотой выливаются из груди поэтессы. В зале тихо... Смерть, кладбище, тоска...

— Я не могу этого слышать... не могу...—шепчет сзади меня дама в жёлтой шляпе и, когда я оборачиваюсь взглянуть на неё, прячет в раздушенный платок взволнованное бледное лицо...

Потом вопила девушка, выдаваемая замуж. Федосова вдохновляется, увлекается своей песнью, вся поглощена ею, вздрагивает, подчёркивает слова жестами, мимикой. Публика молчит, всё более поддаваясь оригинальности этих, за душу берущих, воплей, охваченная заунывными, полными горьких слёз мелодиями. А вопли—вопли русской женщины, плачущей о своей тяжёлой доле,—всё рвутся из сухих уст поэтессы, рвутся и

возбуждают в душе такую острую тоску, такую боль, так близка сердцу каждая нота этих мотивов, истинно русских, не богатых рисунком, не отличающихся разнообразием вариаций —да!—но полных чувства, искренности, силы и всего того, чего нет ныне, чего не встретишь в поэзии ремесленников искусства и теоретиков его, чего не даст Фигнер и Мережковский, ни Фофанов, ни Михайлов, никто из людей, дающих звуки без содержания...

Федосова была пропитана русским стоном, около семидесяти лет она жила им, выпевая в своих импровизациях чужое горе и выпевая горе своей жизни в старых русских песнях. Когда она запела: «Соберитесь-ка, ребятушки, на зелёный луг», по зале раздался странный звук—точно на кого-то тяжесть упала и страшно подавила его. Это вздохнул человек—ярославский купец Канин, мой приятель, один из экспонентов выставки.

— Ты что?

— Хо-рошо! Так хорошо—слов нет!—ответил он, мотая головой и конфузливо утирая слёзы с глаз. Ему под пятьдесят лет, это фабрикант, солидный господин. Узнал своё, старое, сброшенное, и расчувствовался старик.

Слов нет! Русский человек часто употребляет эти два слова, и в этом факте есть предупреждение нам. Он говорит: храните старую русскую песню—в ней есть слова для выражения невыносимого русского горя, того горя, от которого мы гибнем в кабаках, в декадентстве, в скептицизме и других смутах отчаяния. Русская песня—русская история, и безграмотная старуха Федосова, уместив в своей памяти 30.000 стихов, понимает это гораздо лучше многих очень грамотных людей.

Она кончила петь. Публика подошла к эстраде и окружила поэтессу, аплодируя ей, горячо, громко аплодируя. Поняли! Хороший это был момент. Импровизаторша, весёлая и живая, блестит своими юными глазами и сыплет в толпу прибаутки, поговорки; толпа кричит ей вперебой:

— Хорошо, бабушка Ирина! Спасибо, милая!..

1896 г.

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она—тёмная, но светилась изнутри—через глаза—неугасимым, весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка,—она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком,—это её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светлорыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывёт над Волгой солнце; каждый час всё вокруг ново, всё меняется; зелёные горы—как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и сёла, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывёт по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то!—ежеминутно говорит бабушка,

переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у неё радостью расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слёзы. Я дёргаю её за тёмную с набойкой цветами юбку.

— Ась?—встрепенётся она.—А я будто задремала да сон зижу.

— А о чём плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости,—говорит она, улыбаясь.—Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать её невыразимо приятно. Я слушаю—и прошу:

— Ещё!

— А ещё вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, болью, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за неё руками, качает её на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы—бородатые ласковые мужики,—слушают, смеются, хвалят её и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи ещё чего!

Детство. 1913 г.

[РУССКАЯ ПЕСНЯ]

Я стал бегать в казармы казаков,—они стояли около Печерской слободы. Казаки казались иными, чем солдаты, не потому, что они ловко ездили на лошадях и были красивее одеты,—

они иначе говорили, пели другие песни и прекрасно плясали. Бывало, по вечерам, вычистив лошадей, они соберутся в кружок около конюшен, и маленький рыжий казак, встряхнув вихрами, высоким голосом запоёт, как медная труба; тихонько, напряжённо вытягиваясь, заведёт печальную песню про тихий Дон, синий Дунай. Глаза у него закрыты, как закрывает их зорянка-птица, которая часто поёт до того, что падает с ветки на землю мёртвой, ворот рубахи казака расстёгнут, видны ключицы, точно медные удила, и весь этот человек—литой, медный. Качаясь на тонких ногах, точно земля под ним волнуется, разводя руками, слепой и звонкий, он как бы перестал быть человеком, стал трубою горниста, свирелью пастуха. Иногда мне казалось, что он опрокинется, упадёт спиною на землю и умрёт, как зорянка,—потому что истратил на песню всю свою душу, всю её силу.

Спрятав руки в карманы и за широкие спины, вокруг него венком стоят товарищи, строго смотрят на его медное лицо, следят за рукою, тихо плавающей в воздухе, и поют важно, спокойно, как в церкви на клиросе. Все они—бородатые и безбородые—были в эту минуту похожи на иконы: такие же грозные и отдалённые от людей. Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая; когда слушаешь её, то забываешь—день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь всё! Замрут голоса певцов,—слышно, как вздыхают кони, тоскуя по приволью степей, как тихо и неустранимо двигается с поля осенняя ночь; а сердце растёт и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям, к земле.

В людях. 1915—1916 гг.

[ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ]

...«Владимирские рожечники» вполне могут удовлетворить своей игрой тех, кто пожелает истинно русской мелодии, заунывной и весёлой, разухабистой и тоскливой.

Беглые заметки. 1896 г.

ОБ ИСКУССТВЕ

(Отрывки)

Особенно хорошо помню вятича из слободы Кукарки. Я встретил его на пароходе между Казанью и Нижним, он ехал на Всероссийскую выставку 1896 года. Маленький, тощий, лысый, с чёрными глазами мыши и сердитым личиком в жёлтой трёпаной бороде, он ходил в растоптанных лаптях по палубе третьего класса и, осторожно оглядываясь, вполголоса предлагал пассажирам:

— Купите игрушечку!

Игрушечка была вырезана из корневища можжевельника, она изображала человека в шляпе, в брюках «на выпуск», человек стоял, прижавшись плечом к дереву, держа в руках палку, лицо его было злобно раздуто, нижняя губа наполовину закушена зубами, рот искривлён. Лицо было сделано очень тонко, чётко, а тело вырезано только наполовину, другая как бы вросла в дерево, намечена небрежно, но в этой небрежности ясно было видно уменье работать, вкус и знание анатомии. Фигурка была вершка четыре высотой. Он просил за неё два рубля. Ему издевательски предлагали «три пятака», двугривенный, он молча шёл дальше.

Кто-то сказал вслед ему:

— Пустяками занимаешься, старик.

— Да и плохо сделано,—прибавил другой пассажир.

У меня было рубля полтора, но я не хотел увеличивать обиду старика.

— Сам резал?—спросил я, он удивился и ответил вопросом:

— Ну, а как же?

Потом проворчал:

— Чужим не торгую.

Пошёл на корму, сел там в уголок нар, вынул из мешка корень, из кармана перочинный нож. Я сел рядом с ним, разговорились, и он показал мне ещё четыре фигуры: пузатого толстогубого мужика, с большой, апостольской бородой, босого, в рубахе без пояса, мужик, глядя вверх, крестился, прижав руку к левому плечу, развесив губы, открыв зубастый

рот, потом показал длинного монаха с большим носом и сладко прищуренными глазами, растрёпанную, простоволосую, ведьмоподобную старуху, она кому-то грозила кулаком; пьяного барина с дворянской фуражкой на затылке. Все пять фигур обладали одним и тем же свойством: все были убедительно уродливы. Я спросил: почему он, мастер, делает людей как будто насмешливо. Искоса взглянув на меня, он ответил не без задора.

— Я натурально режу. Которых знаю, тех и режу. С тринадцати лет занимаюсь, а мне, пожалуй, пятьдесят семь. Дурачком считаюсь, конешно. Однако это не в обиду мне, а на пользу: у нас дуракам жить не мешают.

Затем он сказал мне:

— Некоторы штучки делают хуже супротив того, каковы они есть, а иные надоть резать получше всамделишных. Приятные делаю приятней, а которы не приятны мне, так я не боюсь охаять их пуще того, каковы они уроды.

Говорил он как бы неохотно, а искоса, из-под щетинистых бровей поглядывал на меня, проверяя: внимательно ли слушаю? Чувствуя, что он нуждается в слушателе, я легко добился, чтоб он рассказал мне горестную, полную унижений жизнь «крапивника», то есть подкидыша. Начал он её подпаском, потом служил солдатом нестроевой роты, заслужил полтора года дисциплинарного батальона, изредка работал в столярных мастерских.

— Однако не уживчив я с людьми, не даюсь ездить верхом на моём-то хребте.

Вообще, это была весьма обычная жизнь одиночки артиста, одержимого страстью к творчеству, которое не находит ценителей...

Сколько талантливых людей бесплодно истратило оригинальные дарования свои на грошёвый труд, притупляющий разум, на труд, ради нищенского куска хлеба! Были такие люди среди деревообделочников-кустарей Поволжья, среди оружейников кавказских племён, серебряников Великого Устюга, среди золотошвеек, кружевниц, в массе тех сотен тысяч рабочих и работниц, которые тратили жизнь на «художественную промышлен-

ность» для украшения жирного быта крупных и мелких лавочников. Можно ли было думать, что через иконопись, консервативнейшее ремесло, наиболее консервативной области искусства — живописи, мастера Палеха и Мстеры придут к их современному отличному мастерству, которое вызывает восхищение даже в людях, избалованных услужливостью живописцев.

1935 г.

РУССКОЕ ИСКУССТВО

...В области искусства, в творчестве сердца русский народ обнаружил изумительную силу, создав при наличии ужаснейших условий прекрасную литературу, удивительную живопись и оригинальную музыку, которой восхищается весь мир. Замкнуты были уста народа, связаны крылья души, но сердце его родило десятки великих художников слова, звуков, красок.

Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России, а рядом с ним волшебник Глинка и прекрасный Брюллов, беспощадный к себе и людям Гоголь, тоскующий Лермонтов, грустный Тургенев, гневный Некрасов, великий бунтовщик Толстой и больная совесть наша— Достоевский; Крамской, Репин, неподражаемый Мусоргский, Лесков, все силы, всю жизнь потративший на то, чтобы создать «положительный тип» русского человека и, наконец, великий лирик Чайковский и чародей языка Островский, так непохожие друг на друга, как это может быть только у нас, на Руси, где в одном и том же поколении встречаются люди как бы разных веков, до того они психологически различны, неслиянны.

Всё это грандиозное создано Русью менее чем в сотню лет. Радостно, до безумной гордости волнует не только обилие талантов, рождённых Россией в XIX веке, но и поражающее разнообразие их, разнообразие, которому историки нашего искусства не отдают должного внимания.

Но мы имеем право гордиться разнообразием фантастически прекрасного горения русской души, и да укрепит оно нашу веру в духовную мощь страны!..

Русское искусство—прежде всего сердечное искусство. В нём неугасимо горела романтическая любовь к человеку, этим огнём любви блещет творчество наших художников и великих и малых,—«народников» в литературе, «передвижников» в живописи, «кучкистов» в музыке.

[*О русском искусстве*] *1917 г.*

...Русская музыка и литература наравне с наукой давно уже стали достоянием всего культурного мира. Казалось бы, что народ, который в течение одного века поднял своё духовное творчество на высоту, равную многовековым достижениям Европы, народ этот, ныне получив доступ к свободе творчества, заслуживает более пристального изучения и внимания, чем то внимание, которым он пользуется со стороны интеллектуалистов Европы.

Ответ интеллигенту. 1931 г.

В истории развития литературы европейской наша юная литература представляет собою феномен изумительный; я не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникала к жизни с такою силою и быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта. Никто в Европе не создавал столь крупных, всем миром признанных книг, никто не творил столь дивных красот, при таких неописуемо тяжких условиях. Это незыблемо устанавливается путём сравнения истории западных литератур с историей нашей; нигде на протяжении неполных ста лет не появлялось столь яркого созвездия великих имён, как в России, и нигде не было такого обилия писателей-мучеников, как у нас.

Наша литература—наша гордость, лучшее, что создано нами, как нацией. В ней—вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа, в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей день ярко горят умы великой красы и силы, сердца святой чистоты—умы и сердца истинных ху-

дожников. И все они правдиво и честно, освещая понятое, пережитое ими, говорят: «храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновлял нас, любите его!

В нашем храме, чаще и сильнее, чем в других, возглашалось общечеловеческое, значение русской литературы признано миром, изумлённым её красотою и силою. Она сумела показать Западу изумительное, неизвестное ему явление — русскую женщину, и только она умеет рассказать о человеке с такою неисчерпаемою, мягкою и страстною любовью матери.

Возьмите нашу литературу со стороны богатства и разнообразия типа писателя: где, и когда работали в одно и то же время такие несоединимые, столь чуждые один другому таланты, как Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, Гл. Успенский и Короленко, Щедрин и Тютчев? Продолжайте эти параллели, и вас поразит разность лиц, приёмов творчества, линии мысли, богатство языка.

В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление—понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе её народа, об её роли на земле.

Разрушение личности. 1908 г.

Русская литература особенно поучительна, особенно ценна широтою своей—нет вопроса, который она не ставила бы и не пыталась разрешить. Это по преимуществу литература вопросов:

Что делать?

Где лучше?

Кто виноват?—спрашивает она.

История русской литературы. 1908—1909 гг.

К русскому же писателю—я не про себя говорю, поверьте!—надо относиться вдвойне уважительно, ибо это лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви сосуд

живой. Почитайте о Глебе Успенском, Гаршине, Салтыкове, о Герцене, посмотрите на ныне живущего Короленко—первого и талантливейшего писателя теперь у нас.

Письмо к П. Максимову. 23 декабря 1910 г.

Когда к человеку относились «осторожнее»? Несомненно—вчера; стоит открыть книгу любого из вчерашних писателей, и—будет ли эта книга Чехова или Лескова—от неё повеет на душу жаром любви к человеку, состраданием к нему, стремлением ободрить его. Вчерашнему писателю не надо было напоминать о «жалости», и было бы хорошо, если бы современная молодежь от холодных риторов сегодняшнего дня возвратилась на отдых к великой русской литературе Пушкина, Тургенева, Лескова, к литературе младших богатырей. Прекрасно можно отдохнуть душою на милых книгах Левитова, одного из лучших лириков в прозе. Хорошо подумать с Помяловским и Слепцовым. У нас есть огромная литература «второстепенных», которую мы совсем не знаем и которая может дать и чувству, и мысли значительно больше того, что дают сейчас.

Издалека. 1911 г.

...Дело идёт о самом лучшем, что есть у нас в России, чем все мы живы—о литературе, воплощающей в себе всю правду нашей жизни, все лучшие думы и чаяния наши—о самой гуманной и задушевной литературе мира.

Письмо к неизвестному. 1912 г.

...Русская литература была очень сильна своим демократизмом, своим страстным стремлением к решению задач социального бытия, проповедью человечности, песнями в честь свободы, глубоким интересом к жизни народа, целомудренным отношением к женщине, упорными поисками всеобщей, всеосвещающей правды...

Старый русский писатель был поистине «учителем жизни», верным и душевным другом своего читателя, великомучеником

торжества правды ради, апостолом свободы и не судьёй людей, а свидетелем их страданий; повествуя о скорбях жизни, он умел и хотел ободрить усталого, пожалеть человека той благородной, материнской жалостью, которая выражается молча, доходит до сердца без слов.

О современности. 1912 г.

Не забывайте, что литература у нас, на Руси, дело священное, дело величайшее...

Письмо к Д. Семёновскому. 1913 г.

[А. С. ПУШКИН]

Пуш[кин] первый почувствовал, что литература—национальное дело первостепенной важности, что она выше работы в канцеляриях и службы во дворце, он первый поднял звание литератора на высоту до него недосягаемую: в его глазах поэт—выразитель всех чувств и дум народа, он призван понять и изобразить все явления жизни.

История русской литературы. 1908—1909 гг.

...[Пушкин] великий русский народный поэт, создатель чарующих красотой и умом сказок, автор первого реалистического романа «Евгений Онегин», автор лучшей нашей исторической драмы «Бор[ис] Годун[ов]», поэт, до сего дня никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт—родоначальник великой русской литер[атуры].

История русской литературы. 1908—1909 гг.

Литературные вкусы Ваши—одобряю, очень; весьма рад, что Вам нравится Герцен, но, сокрушаюсь, почто Вы Пушкина засадили в «легкомысленные люди». Он у нас—начало всех начал—в том числе и Герцена.

Письмо к П. Максимову. 10 сентября 1911 г.

По диапазону творчества Пушкин всего ближе к Гёте, а если оставить в стороне научные интересы и домыслы последнего, творчество Пушкина окажется разнообразнее, шире всей массы достижений Немецкого Олимпийца.

Как-то чудесно, сразу после нашествия Наполеона, после того, как русские люди в мундирах офицеров и солдат побывали в Париже, явился этот гениальный человек и на протяжении краткой жизни своей положил незыблемые основания всему, что наследовано за ним в области русского искусства. Без Пушкина были бы долго невозможны Гоголь,—которому он дал тему пьесы «Ревизор»,—Лев Толстой, Тургенев, Достоевский. Все эти великие люди России признавали Пушкина своим духовным родоначальником.

В творчестве Пушкина чувствуется нечто вулканическое, чудесное сочетание страстности и мудрости, чарующей любви к жизни и резкого осуждения её пошлости, его трогательная нежность не боялась сатирической улыбки, и весь он —чудо.

Пушкин—автор изумительных по силе и страстной нежности чувства лирических стихов, создатель таких эпических и мудрых поэм, каковы «Медный всадник», «Полтава»; чудесных по изяществу сказок «Руслан и Людмила», «Русалка»; он изумительно, с блестящим юмором изложил гибким, звонким стихом мудрые сказки русского народа «Золотой петушок», «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике Балде»; он создал лучшую в русской литературе и до сего дня не превзойдённую историческую драму «Борис Годунов», вероятно, известную Америке по знаменитой опере Мусоргского. Как прозаик, он написал исторический роман «Капитанская дочка», где с проницательностью историка дал живой образ казака Емельяна Пугачёва, организатора одного из наиболее грандиозных восстаний русских крестьян. Его рассказы «Пиковая дама», «Дубровский», «Станционный смотритель» и другие положили основание новой русской прозе, смело ввели в литературу новизну и, освободив русский язык от влияния французского, немецкого, освободили литературу от слащавого сентиментализма, которым болели предшественники Пушкина. Вместе с тем он явился основоположником того слияния роман-

тизма с реализмом, которое и до сего дня характерно для русской литературы и придаёт ей свой тон, своё лицо.

Роман в стихах «Евгений Онегин» навсегда останется одним из замечательнейших достижений русского искусства и занял бы почётное место рядом с такими шедеврами европейской литературы, каковы «Страдания Вертера», «История Манон Леско», «Кларисса Гарлоу» и т. д.

Известно, что музыка пользуется лишь наиболее гениальными произведениями искусства слова и наиболее глубокими, по смыслу, легендами народа.

Музыка использовала в форме опер целый ряд вещей Пушкина: Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Дубровский», «Евгений Онегин», «Золотой петушок», Царь Салтан», Борис Годунов», Цыганы», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Алеко» — все эти оперы написаны на текст Пушкина, крупнейшими композиторами России: Глинкой, Мусоргским, Римским-Корсаковым, Рахманиновым...

Такие его произведения, как «Скупой рыцарь», «Египетские ночи», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» обнаруживают в Пушкине редкую даже и для гениальных художников слова способность проникать в дух и быт чужих стран, отдалённых эпох. На этих произведениях Пушкина особенно ярко сверкает печать неувядаемости, бессмертия, гениальной прозорливости. Он был изумительный мастер эпистолярного стиля, письма Пушкина до сего дня не утратили значения лучших образцов этого стиля.

Трудно исчислить всё то поразительно талантливое, что написано Пушкиным. Его поэмы «Цыганы», «Братья разбойники», «Кавказский пленник» и др.—всё это классические образцы русского слова и стиха, а «Сон Татьяны» в «Евгении Онегине» поражает искусным соединением фантастики с реализмом.

Пушкин написал также «Историю Пугачёвского бунта»,— это такая же попытка поэта говорить точным языком историка, как попытка Шиллера—написать «Историю 30-летней войны».

Творчество Пушкина—широкий, ослепительный поток стихов и прозы. Пушкин как бы зажёг новое солнце над холодной хмурой страной, и лучи этого солнца сразу оплодотворили её.

Для историка литературы нет темы более значительной и сказочной, чем жизнь и творчество Пушкина. Жизнь Пушкина почти так же сказочно разнообразна, как его творчество.

[Предисловие к однотомнику прозы Пушкина в переводе на английский язык.] 1925 г.

Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место,—всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернётся пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на неё очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать её было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

— Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей,

—мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, ещё не стряхнувшая капель росы, тяжёлых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично всё, о чём говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою—лёгкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье—быть грамотным.

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уж знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я

пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:

— Вот славно, а? Ах, господи...

В людях. 1915—1916 гг.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ]

Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера; в мастерской тихо, как ночью, над столами висят стеклянные шары—белые, холодные звёзды, их лучи освещают лохматые и лысые головы, прижимые к столам; я вижу спокойные, задумчивые лица, иногда раздаётся возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кротки непохоже на себя; я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо; я чувствовал себя на месте...

Трудно было доставать книги; записаться в библиотеку не догадались, но я всё-таки как-то ухитрялся и доставал книжки, выпрашивая их всюду, как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, её могучее влияние на людей.

Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул в книгу, потом—в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

— Тише, братцы,—сказал Ларионыч и, тоже бросив работу, подошёл к столу Ситанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слёзы навёртывались на глаза. Но ещё более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

— Читай, читай,—сказал Жихарев, наклоняя мою голову над книгой.

Я кончил читать, он взял книгу, посмотрел её титул и, сунув подмышку себе, объявил:

— Это надо ещё раз прочитать! Завтра спять прочитаешь. Книгу я спрячу.

Отошёл, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам; Ситанов подошёл к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл, а Жихарев, снова отложив кисть, сказал строгим голосом:

— Вот это—житие, рабы божие... да!

Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал:

— Деймона я могу даже написать: телом чёрен и мохнат, крылья огненно-красные—суриком, а личико, ручки, ножки—доснпя белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурете, играл пальцами и непонятно говорил о демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые.

— Это всё правда!—утверждал он.—Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конешно, демону лестно согрешить с душой чистой...

Его слушали молча; должно быть, всем, как и мне, не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило девять,—бросили работу очень дружно.

Ситанов и Жихарев вышли на двор, я пошёл с ними. Там, глядя на звёзды, Ситанов сказал:

— Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил...

Этого не выдумаешь!

— Я никаких слов не помню,—заметил Жихарев, вздрагивая на остром холоде.—Ничего не помню, а его вижу! Удивительно это—человек заставил чорта пожалеть? Ведь жалко его, а?

— Жалко,—согласился Ситанов.

— Вот что значит—человек!—памятно воскликнул Жихарев.

В сенях он предупредил меня:

— Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу: она, конешно, запрещённая!

Я обрадовался: так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди!

Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чём надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу:

— Ну-ко, ещё раз прочитай это! Пореже, не торопись...

Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него раздетые, поджимая ноги.

И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу:

— Это- житие! Ах, демон, демон... вот как, брат, а?

Сиганов качнулся через моё плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря:

— Спишу себе в тетрадь...

В людях. 1915—1916 гг.

[Л. Н. ТОЛСТОЙ]

Ну, вот и был я у Льва Николаевича. С той поры прошло уже восемь дней, а я всё ещё не могу оформить впечатления. Он меня поразил сначала своей внешностью: я представлял его не таким—выше ростом, шире костью. А он оказался маленьким старичком и почему-то напомнил мне рассказы о гениальном чудаке Суворове. А когда он начал говорить—я слушал и изумлялся. Всё, что он говорил, было удивительно просто, глубоко и хотя иногда совершенно не верно,—по-моему,—но ужасно хорошо. Главное же—просто очень. В конце он всё-таки—целый оркестр, но в нём не все трубы играют согласно. И это тоже очень хорошо, ибо—это очень человечно, т. е. свойственно человеку. В сущности—ужасно глупо называть человека гением. Совершенно непонятно, что такое гений? Гораздо проще и яснее говорить Лев Толстой—это и кратко и совершенно оригинально, т. е. решительно ни на что не похоже и притом—как-то сильно, особенно сильно. Видеть Льва Николаевича—очень важно и полезно, хотя я отнюдь не считаю его чудом природы. Смотришь на него и ужасно приятно чувствовать себя тоже челове-

ком, сознавать, что человек может быть Львом Толстым. Вы понимаете?—за человека вообще приятно. Он очень хорошо отнёсся ко мне, но это—разумеется, не суть важно. Не важно и то, что он говорит о моих рассказах, а важно как-то всё это, всё вместе: всё сказанное, его манера говорить, сидеть, смотреть на вас. Очень это слитно и могуче красиво.

Письмо к А. П. Чехову. 1900 г. Январь.

Толстой и Достоевский—два величайших гения, силою своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию изумлённое внимание всей Европы, и оба встали, как равные, в великие ряды людей, чьи имена: Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гёте.

Заметки о мещанстве. 1905 г.

60 лет звучал суровый и правдивый голос, обличавший всех и всё; он рассказал нам о русской жизни почти столько же, как вся остальная наша литература.

Историческое значение работы Т[олстого] уже теперь понимается как итог всего пережитого русс[ким] о[бщест]вом за весь XIX в[ек], и книги его останутся в веках, как памятник упорного труда, сделанного гением; его книги—документальное изложение всех исканий, которые предприняла в XIX в[еке] личность сильная, в целях найти себя в истории Росс[ии] место и дело.

Мы не должны останавливаться на выводах Толстого, на его грубо-тенденциозной проповеди пассивизма; мы знаем, что эта проповедь, в конечных выводах своих, глубоко реакционна, знаем, что она была способна причинить вред и причинила даже—всё это так!

Но—за всем этим остаются широко написанные, живые и яркие картины русской жизни во всех её слоях, остаются глубоко взятые, изумительно просто и правдиво рассказанные человеческие жизни, душевные переживания. И эта работа имеет цену неоспоримую, она—колоссальна, она есть нечто, чем мы имеем

право гордиться, что может научить нас уважать человека, понимать жизнь и безбоязненно думать о всех вопросах.

Т[олстой] глубоко национален, он с изумительной полнотой воплощает в своей душе все особенности сложной русской психики: в нём есть буйное озорство Васьки Буслаева и кроткая вдумчивость Нестора-летописца, в нём горит фанатизм Аввакума, он скептик, как Чаадаев, поэт не менее, чем Пушкин, и умён, как Герцен,—Толстой это целый мир. Человек, глубоко правдивый, он ещё потому ценен для нас, что все его художественные произведения, написанные со страшной, почти чудесной силой,—все его романы и повести—в корне отрицают его религиозную философию.

Действительность—живой процесс, постоянно текучий, изменяющийся, этот процесс всегда и шире и глубже всех возможных обобщений.

История русской литературы. 1908—1909 гг.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

(Отрывок)

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги,—мне кажется, я имею право говорить о нём то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдётся с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всём прекрасного, да, да, во всём. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нём есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живёт на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек,—человек человечества...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано—скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел,—мучительно хочется говорить о нём. Представляю его в гробу,—лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его—всем чужая—обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены—отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза,—он видел всё насквозь,—и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределённый голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и—жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шёл к нему в Гаспру берегом моря и, под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером, помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подпершись скулы руками,—между пальцев веют серебряные волосы бороды,—и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пёстрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни—огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями,—накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том—когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека, и всего мира, от камня до солнца. А море—часть его души, и всё вокруг—от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углублённое во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землёй, как будто это он—его сосредоточенная воля—призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что—возможно!—встанет он, взмахнёт рукой, и море застынет,

остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и всё вокруг оживёт, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нём, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно, и жутко, а потом всё слилось в счастливую мысль:

— Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушёл назад, не желая мешать его думам. А вот теперь чувствую себя сиротой, пишу и плачу, — никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю, любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли её, делали более чуткой и ёмкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шёл к вам мелким, лёгким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал всё новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но всё-таки — здравствуйте!

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда, и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

— Ах, родной ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот ещё русское «свободомысленное»:

— Лев Николаевич! Будучи не согласен с Вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице Вашем великого художника...

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ,—тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нём было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ёжились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей—москвичом—возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, всё улыбался, жалобно и растерянно твердил:

— Н-ну,—баня! Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А ведь я думал—он в самом деле анархист. Все твердят—анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета,—зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюблёнными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах—на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть ещё раз и—не увижу больше никогда...

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал её. Это пошлость—жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затёртых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня?—Да, сегодня я вас не люблю.

В вопросах он был беспощаден, в ответах—сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете—с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове—холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и—на-те! —подчёркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подаёт на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза и—ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточённо доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот—писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот—проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили—тульский писатель и—таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант—это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюблённых,—все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это—главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти,—рассердится—на лы-

сние у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал—плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом—ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжёл и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю—почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё -не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель,—вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно—язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли,—ничего, не обидно, что я так говорю? Я -старик, и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне всё кажется, что она—не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, —я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, —он обратился к Чехову,—вы русский! Да, очень, очень русский.

И ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шёл по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, ещё больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто—чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идёт соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, чётко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда,—восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом всё вокруг стало живительно-свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, изобильной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и ещё кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах; он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду,—скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь—возьми-ка меня тогда!—И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нём, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедывало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте—озорник Новгородский, а Чаадаевское усмехалось над этими забавами души да—кстати —и над муками её.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведённый до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это—удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нём меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай.

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одинокo изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший её для себя, смотрю я на него и—хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди толстовцев; стоит величественная колокольня, и колокол её неустанно гудит на весь мир,

а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга—кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом, и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слёзками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить, и как стала чиста душа его, приняв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Всё врёт, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы —о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что всё было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах,—в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время —очень личное. Словно его однажды оскорбили, и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увёл меня к себе в кабинет— это было в Хамовниках— усадил против себя и стал говорить о

«Варенька Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был поражён его тоном, даже растерялся—так обнажённо и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы её обнимали, щупали. Разум её боится ещё неизвестного, непонятного ему, —это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть её уже знает, что непонятное—неизбежно, законно, и требует исполнения закона, вопреки разуму. И все же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует художественно—это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отречённые» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят—вы очень начитанный,—правда? Что, Короленко—музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это—по контрасту. Он—лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Неправда ли хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы, действительно, много читали,—смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо—ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад, и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счёл нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало моё представление о нём—представление, с которым я сжился, и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжёлое драповое пальто и высокие кожаные ботики—настоящие мокроступы,—повёл меня гулять в берёзовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шешкин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берёз.

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...

очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, эдаким старым зверобоем, как гикнет. А потом—взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна,—коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али ещё рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот—вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И—позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, мет-

нулся в сторону,—исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так удрал...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его?—оживлённо спросил Л. Н.—Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский,—высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами,—надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, вареного в красном вине, вооружённый огромным холщёвым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам. Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол, и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил в глазах Л. Н. слёзы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей радикалов он—самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация—варварская, а культура—дело мирных племён, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование—лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ—согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны—это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось—и думаю, я не ошибаюсь—Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?»—я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом,—писал бы ещё лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удаётся москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы—сочинитель. Все эти ваши Кувалды—выдуманы.

Я заметил, что Кувалда—живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость!—говорил он, смеясь и отирая слёзы.—Да, да—белая кость! Но—какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы—романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

— А насилие—главное зло!—воскликнул он, взяв меня под руку.—Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник»—это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда вы думаете—у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды...

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших—всё строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы. Вы—сомнительный социалист. Вы—романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это—другое, Гюго. Не люблю его—крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой—по его мнению—выбор книг.

— Гиббон, это хуже Костомарова, надо читать Момсена,— очень надоедный, но—солидно всё.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною,—«Братья Земганно», он даже возмутился.

— Вот видите—глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну ещё—Мопассан, но Чехов—лучше его. А Гонкуры—сами клоуны, они только прикидывались серьёзными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьёзное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н.,—он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет,—говорил он,—это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия—страна шарлатанов, авантюристов,—там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это—политика, это—другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трёх поколений знакомой мне купеческой семьи, историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбуждённо дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это—правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но ведь рыцари будут, Л. Н.!

— Оставьте! Это очень серьёзно. Тот, который идёт в монахи, молиться, за всю семью, это чудесно! Это—настоящее: вы—грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой—скучающий, стяжатель-строитель,—тоже правда! И что он пьёт, и зверь, распутник, и любит всех, а—вдруг—убил,—ах, это хорошо. Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать

героев, не надо! Герои—ложь, выдумка, есть просто люди, люди и—больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мёртвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы—ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь и вдруг—станет жалко кого-нибудь, возьмёшь и прибавишь ему черту получше, а у другого—убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество—ложь, обман и произвол, и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина—почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямотою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

— Иду я, как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля—рай, всё ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчёлы гудят, солнце такое милое, и всё кругом—праздично, человечно, великолепно. Был я умилён до слёз и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие,—возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые, синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты—творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

— Да, вот видите, что бывает. Природа—её богомилы считали делом дьявола—жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это—для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки,—в плоть данной ему. Мы носим это в себе, как неизбежное наказание, а—за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его страшно изменялись— были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да,—за какой грех?

Однажды я шёл с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлёт её дух, туда она и бежит, а мы—как живём? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потёр грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом переулке, видел я осенью пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тёк грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе, лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокрому, а встать не может.

Его передёрнуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь... Это—самое ужасное, самое противное—пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и—не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до неё—месяц руки не отмоешь,—ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слёзы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадёжно, устало:

— Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять—шлёп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шопотом:

— Да, да,—ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много,—ах, боже мой! Вы—не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я—так... стыдно писать о гадостях. Ну—а почему не писать? Нет,—нужно писать всё, обо всём...

На глазах у него показались слёзы. Он вытер их и—всё улыбаясь—посмотрел на платок, а слёзы снова текут по морщинам.

— Плачу,—сказал он.—Я старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И легонько толкая меня локтем:

— Вот и вы,—проживёте жизнь, а всё останется, как было,—тогда и вы заплачете, да ещё хуже меня,—«ручьистее», говорят бабы... А писать всё надо, обо всём, иначе светленький мальчик обидится, упрекнёт,—неправда, не вся правда, скажет. Он—строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы—страшный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а—знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилёг под сосной, на её обнажённых корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно-пышной, хвастливо-разнузданной растительности, он, Лев Толстой—даже самое имя обнажает внутреннюю силу его!—маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый,—среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа,—хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в своё, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, всё—так, как надо, но—не вполне так, и нужно тотчас найти—что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам спорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не

скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зёрна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Лёвушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это—тоже нехорошо,—это от недоверия к себе. Я—много пишу, и это нехорошо, потому что—от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно,—я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты—ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь—во что вцепиться. И вцепишься не в своё дело,—это уже бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда оно само начнёт отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка»,— ты почти похож на неё.

— Чем?—спросил Сулер, смеясь.

— Любить—любишь, а выбрать—не умеешь и уйдёшь весь на пустяки.

— И все так?

— Все?—повторил Л. Н.—Нет, не все.

И неожиданно спросил меня,—точно ударил:

— Вы почему не веруете в бога?

— Веры нет, Л. Н.

— Это—неправда. Вы по натуре верующий и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать этого не хотят, боятся—не поймёт, да и храбрости нет. Для веры—как для любви—нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе—верую,—и всё будет хорошо, всё явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечёт вас. Вот вы многое любите, а вера это и есть усиленная любовь, надо полюбить ещё больше—тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину—так самую лучшую на земле,—непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже—вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год—в другую. Душа таких людей—бродяга, она живёт бесплодно, это—нехорошо. Вы родились верующим, и нечего

ломать себя. Вот вы говорите—красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное—бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и её важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого—не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

— Этот человек—богоподобен!

Лев Толстой. 1919 г.

[Н. С. ЛЕСКОВ]

...Он [Лесков] писал не о мужике, не о нигилисте, не о помещике, а всегда о русском человеке, о человеке данной страны.

Каждый его герой—звено в цепи людей, в цепи поколений, и в каждом рассказе Лес[кова] вы чувствуете, что его основная дума—дума не о судьбе лица, а о судьбе России.

История русской литературы. 1908—1909 гг.

Как художник слова, Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант Лескова силою и красотой своей не многим уступает таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок её, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных предшественников и соратников своих. Различие Лескова с великанами литературы нашей только в том, что они писали пластически, слова у них—точно глина, из которой они богоподобно лепили фигуры и образы людей, живые до обмана, до того, что, когда читаешь их книги, то кажется: все герои, волшебно одухотворённые силою слов, окружают тебя, физически соприкасаясь с тобой, ты до боли

остро чувствуешь их страдания, смеёшься с ними и плачешь, ненавидишь их и любишь, тебе слышны их голоса, виден блеск радости и влажный туман скорби в их глазах, ты живёшь с ними жизнью дружески сострадающего или враждебно отталкиваешь их от себя, и всё это так же мучительно хорошо, как настоящая жизнь, только понятнее и красивее её.

Лесков—тоже волшебник слова, но он писал не пластически, а—рассказывал и в этом искусстве не имеет равного себе. Его рассказ—одухотворённая песнь, простые, чисто великорусские слова, спизываясь одно с другим в затейливые строки, то задумчиво, то смешливо звонки, и всегда в них слышна трепетная любовь к людям, прикрыто-нежная, почти женская; чистая любовь,—она немножко стыдится себя самой. Люди его рассказов часто говорят сами о себе, но речь их так изумительно жива, так правдива и убедительна, что они встают пред вами столь же таинственно ощутимы, физически ясны, как люди из книг Л. Толстого и других,—иначе сказать, Лесков достигает того же результата, но другим приёмом мастерства.

Тургенева, Гончарова и других почти не чувствуется в их книгах, когда они не хотят, чтобы их личное участие в жизни изображаемого ими чувствовалось читателем. Лесков почти всегда где-то около читателя, близко к нему, но его голос не мешает слушать страшные полусказки, полубыли, которые кто-то рассказывает, точно старая мудрая нянька, рассказывает с искусством и силою Гомера или всезнающего Геродота, но без утомительной торжественности древнего поэта и без наивной доверчивости «отца истории». Толстой, Тургенев любили создавать вокруг своих людей тот или иной фон, который ещё более красиво оживлял их героев, они широко пользовались пейзажем, описаниями хода мысли, игры чувств человека,—Лесков почти всегда избегал этого, достигая тех же результатов искусным плетением нервного кружева разговорной речи.

Строгие люди,—их называют также пуристами, отчего они не становятся лучше и милее—строгие критики, якобы понимающие тайны и капризы словесного творчества глубже и яснее самих творцов, часто упрекали Лескова в том, что он искажал язык, говоря: «мимоноска» вместо миноноска, «фи-

миазмы» вместо—миазмы, «три волнения» вместо—треволнения и т. д., но отчего же иногда не пошутить, хотя бы и неудачно? Неудачные шутки были свойственны даже богам.

А затем Лесков писал в ту пору, когда в русскую речь широкою волною хлынула масса иностранных слов из переводных, популярно-научных сочинений и когда «гарантия», «субсидия», «концессия», «грюндерство» и прочие словечки, за которыми таились очень скверные понятия и дела,—не могли не раздражать Лескова, человека насквозь русского, тонко знающего русский язык и влюблённого в его красоту.

Лесков—самобытнейший писатель русский, чуждый всяких влияний со стороны.

Н. С. Лесков. 1923 г.

[А. П. ЧЕХОВ]

...Когда умрёт Чехов—умрёт один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый,—друг, любящий ее, сострадающий ей во всём, и Россия вся дрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещённым грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который всё понимает.

Литературные заметки. По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге». 1900 г.

[А. П. ЧЕХОВ]

(Отрывки)

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пёстрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешёвенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь, раковинами

и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; всё пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нём смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни—ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие темы,—разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво-простой, он любил всё простое, настоящее, некрепкое, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шёлковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и—начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьёзным, ласковым ответил:

— Вероятно,—миром...

— Ну, да, конечно!—Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется,—победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее?—наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованы...

— Ах, как это остроумно!—воскликнула одна.

— А кого вы больше любите—греков или турок?—спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на неё и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю—мармелад... а вы—любите?

— Очень!—оживлённо воскликнула дама.

— Он такой ароматный!—солидно подтвердила другая.

И все три оживлённо заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно—они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьёзно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлём вам мармеладу!

— Вы славно беседовали!—заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему, как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания,—чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нём был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьёй,—серьёзно сказал Антон Павлович,—я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: ты, Денис, ещё не дозрел до типа сознательного преступника, ступай—и дозрей!

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьёзен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович,—вопрос, поставленный вами, может быть разрешён только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис—дикарь, да, но он—преступник,—вот истина!

— Вам нравится граммофон?—вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О, да! Очень! Изумительное изобретение!—живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов!—грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И всё у них карикатурно выходит, мертво... А фотографией вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на своё сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока ещё чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на... седины правосудия—распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно—ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость,—искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создаётся лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нём жестокого и строгого судью...

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда, как основания культуры, так глубоко и всесторонне, как А. П.

Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устаёт любоваться ими, как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша.

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

— Эх-ма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошёл бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил, да сады всё садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы её — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понёс её ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты, вот, её камнем пустил в небеса,
Я ж её сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе её в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает её и уютной для себя.—Кивнув упрямо головой, повторил:

— Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину ещё раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки—не надо, это озорство. Лишнее...

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется—«Душенькой». Он говорил:

— Это—как бы кружево, сплетённое целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево.—Толстой говорил, очень волнуясь, со слезами на глазах. А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущённо:

— Там—опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нём очень мелко и чётко, чего я не умею! Хорошо бы написать о нём так, как сам он написал «Степь», рассказ, ароматный, лёгкий и такой, по-русски, задумчиво-грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в неё ясный смысл.

Человек—ось мира.

А—скажут—пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб—сладко питает.

1905—1923 г.

[В. Г. КОРОЛЕНКО]

...В песне, которую поёт Россия, В. Г. Короленко—одна из звучных и красивых строф.

Издалека. 1911—1912 гг.

...Нет человека, которого я любил бы и уважал так, как Вас.

Письмо к В. Г. Короленко. 1917 г., 25 января.

...Он [В. Г. Короленко] для меня идеальный образ русского писателя.

Письмо к Е. С. Короленко. 7 октября 1925 г.

...За 25 лет литературной моей работы я видел и знал почти всех больших писателей, имел высокую честь знать и колоссального Л. Н. Толстого.

В. Г. Короленко стоит для меня где-то в стороне от всех, в своей особой позиции, значение которой до сего дня недостаточно оценено. Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать. Он сказал это тихим голосом мудреца, который прекрасно знает, что всякая мудрость относительна и вечной правды—нет. Но правда, сказанная образом Тюлина,—огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великорусса—того человека, который ныне сорвался с крепких цепей старины и получил возможность строить жизнь по своей воле.

Верю, что он построит её так, как найдёт удобным для себя, и знаю, что в этой великой работе строения новой России найдёт должную оценку и прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем.

Из воспоминаний о В. Г. Короленко. 1918 г.

ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО

(Отрывки)

Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов—в пышных шапках снега, скворешни—в серебряных чепчиках, стёкла окон затянуты кружевами, а в белёсом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело

работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжёлых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие, хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он, молча, выслушал мои объяснения причин визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И—не громко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?

В маленькой, угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду—простой, чёткий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на её страницы, на меня—мне было неловко.

— Тут у вас написано—«зизгаг», это... очевидно, описка, такого слова нет, есть—зигзаг...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко—человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли,—да?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Рус-

ский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил между прочим, всё расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас!—неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил:—Трудно живётся?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, но я видел в нём странное сходство с волжским лоцманом,—оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь, как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова,—должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это—бывает.

Я сказал, что—знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами, чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете: «Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться. Раз это так»... Раз—так,—не годится! Это—неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак,—вы слышите?

Я впервые слышал всё это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична,—сказал Короленко улыбаясь.—Вот он нашёл ещё «описку», ещё и ещё. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскалённый уголь. Заметив моё состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного—бежать от срама. Известно, что литераторы и актёры самолюбивы, как пуделя.

Я ушёл и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож

на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нём нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлён простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство—не лёгкое дело...

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать не обычным—добрым, бескорыстным, красивым,—до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека—человеком. Но всё-таки я был душевно голоден и одуряющий яд книг уже не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта и, порою, я кричал:

— Шире бери!..

— Держи карман шире!—иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на «Откосе», высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволожья и сквозь ветви деревьев—реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

— Однако, как вы замечтались. Я хотел шляпу снять с вас, да подумал—испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете,—сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем! Как живёте, что делаете?

После нескольких незначительных фраз, он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?..

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, страшно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить её в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений,—сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий задумчивый тон. Но, по существу, всё, что он говорит о марксизме, было уже—в других словах—знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать, и убеждён в полезности того, что делаю. А—почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился—так ему было удобнее смотреть в лицо мне—и молча, внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом не мало верного! Вы наблюдаете хорошо...

И—усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас, как о человеке иного характера... весёлом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идёт впереди, таково её историческое назначение.

— Это—дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Пе-

ровская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость,—а прежде всего, конечно, в тюрьму,—всё это—самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие её.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьёй взад и вперёд, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее—это рассказ о человеке, который нашёл способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни,—но ещё вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы,—обращайте больше внимания на достоинства! Подсчёт недостатков увлекает всех нас—это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но—Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осуждённого. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадёжного, казалось, дела,—это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима—справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжёт всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжёлые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость,—вот как я думаю.

Он, видимо, устал,—он говорил очень долго, сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

— А, ведь, уже поздно или—рано, светло! И кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он—версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в тёмных тучах.

1923 г.

В. Г. КОРОЛЕНКО

(Отрывок)

...Каждая беседа с ним укрепляла моё представление о В. Г. Короленко, как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счёт делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действенна, только разбудите её, и стремление её будет направлено к истине, справедливости.

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она—призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы...

...В 87 г. он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга:

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.

Всю жизнь, трудным путём героя, он шёл встречу дню, и неисчислимо всё, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня.

1922 г.

[О РУССКОМ ЯЗЫКЕ]

...Русский язык неисчерпаемо богат и всё обогащается с быстротой поражающей.

...Язык создаётся народом. Деление языка на литературный

и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его.

О том, как я учился писать. 1928 г.

Мне кажется, что, работая по словотворчеству, необходимо знать наш богатейший фольклор, особенно же наши изумительно чёткие, меткие пословицы и поговорки. «Пословица век не сломится». Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатостью, крепостью.

Письма начинающим литераторам. 1930 г.

Народные песни, народные сказки, народные легенды,—вообще всё народное устное творчество, которое собственно и называется фольклором,—это должно быть постоянным нашим материалом. Я говорю не только о далевском словаре, хотя это ценнейшая книга. Но у нас есть писатели, хорошо взявшие этот фольклор, например, Мельников-Печерский в первом своём (и единственно хорошем) романе «В лесах». Там у него хороший язык. Можно поучиться такому литературному языку, лишённому всяких варваризмов, всяких слов, заимствованных из иностранных языков. Богат Лесков.

У Бунина чистый и точный язык... Чехов—тоже писатель, у которого в этом отношении следует учиться...

... Нужно, чтоб слова изнутри человека, а не извне накленвались на него. Это поймать надо, и, когда это будет поймано, тогда органичность произведения явится сама собой, явится язык сильный своей красочностью, потому что наш русский язык в высшей степени благодарен в этом отношении, ярок, удивительно чёток и компактен.

Речь на Первом всероссийском съезде крестьянских писателей. 1930 г. Июнь.

...Наш читатель... в праве требовать, чтоб писатель говорил с ним простыми словами богатейшего и гибкого языка, который создал в Европе XIX века—может быть, самую мощную литературу.

О прозе. 1933 г.

...Литература наша обладает богатым языковым материалом «народников», а также лексиконами таких своеобразных «стилистов», как Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков, Лесков, Г. Успенский, Чехов. С этим прекрасным наследством наши молодые писатели плохо знакомы...

По поводу одной дискуссии. 1934 г.

Неоспоримая ценность дореволюционной литературы в том, что, начиная с Пушкина, наши классики отобрали из речевого хаоса наиболее точные, яркие, веские слова и создали тот «великий прекрасный язык», служить дальнейшему развитию которого Тургенев умолял Льва Толстого.

О языке. 1934 г.

[И. Е. РЕПИН]

Репин—это художник! Поклонитесь ему от меня, его искреннего поклонника, влюблённого в него по уши. Скажите ему, что он—высокой важности человек, дай ему боже здоровья и сил!

Письмо к В. С. Миролюбову. 1899 г., январь.[1]

[«МИНИН» МАКОВСКОГО]

Первое впечатление не в пользу картины. Она кажется тусклой, в ней мало солнца—и кучи ярких одежд, набросанные на земле, кубки, стопы, братины,—всё это недостаточно ярко,

недостаточно вырисовывается, как-то очень массивно. И толпа тоже кажется массивной, неживой, без движения. Но стоит посмотреть минут десять, и картина оживает, и вы видите действительную возбуждённую, полную страшной силы толпу, собравшуюся «делать историю».

Фигура Минина, стоящего на бочке, очень хороша: понятно, почему всё вокруг него так кипит—это его огонь зажёг толпу. Все более и ярче вырисовываются в ней отдельные фигуры, убогие, калеки, снимающие с себя крест, красавица-боярыня, вынимающая из ушей серьги, кожемяка, сующий свою косу возбуждённому Козьме, стрелец, свирепо взмахнувший над головой своей секирой. Очень оживляют толпу личики детей, выписанные кистью художника, должно быть, очень любящего их. Особенно хороша заспанная девчурка, в одной рубашонке, стоящая почти на первом плане об руку со своей сестрой; старуха, сидящая на земле, около кучи всякого скарба и открывающая бурак, не обращая ни на что внимания, тоже очень типичная. Вдали сквозь толпу пробивается вершник, толпа течёт из ворот кремля такой густой волной, над ней туча пыли, и выше всего старик кремль. Его серые хмурые стены очень хороши на фоне неба в лёгких, белых облаках. Левый угол картины открывает зелёный кусок Заволжья церковью, утонувшей в купе деревьев.

Можно повторить, что в картине мало воздуха и солнца, но едва ли можно отрицать её историческую и художественную правду. Толпа Маковского глубоко народна—это именно весь нижегородский люд старого времени собрался отстаивать Москву и бескорыстно, горячо срывает с себя рубаху в жажде положить кости за родную землю.

От Главача к Маковскому. 1896 г.

[П. И. ЧАЙКОВСКИЙ, УВЕРТЮРА «1812 ГОД»]

Является Главач. Взмах его магической палочки, и зал полон торжественных звуков «1812 года». Прославленное умение В. И. владеть оркестром—налицо, все партии в полной гармонии,

ни один инструмент не выделяется, глубоко народная музыка увертюры, важная, мощная, льётся плавными волнами по залу и захватывает вас чем-то новым, высоко поднимающим над буднями современности. Торжественный исторический момент, изложенный в этих звуках, так хорошо рисует широкий размах народной мощи, развернувшейся на защиту своей страны.

На выставке. 1896 г.

ТРУППА МАЛОГО ТЕАТРА

Вчера в большом ярмарочном театре начались спектакли товарищества артистов императорского Малого театра в Москве. Выставочный сезон достаточно продолжителен, и на долю Нижнего выпал, таким образом, редкий случай серьёзно и всесторонне познакомиться с солидной и хорошо организованной труппой артистов. Малый театр пользуется не только всерусской, но и всеевропейской известностью и не нуждается, конечно, ни в какой рекомендации. За ним давным-давно прочно установилась слава первоклассной сцены, высоко держащей знамя истинного драматического искусства и обратившей театр в истинную кафедру для проповеди высоких художественных идеалов. Малый театр является хранителем лучших театральных традиций и продолжателем того великого дела создания национального драматического искусства, которому послужили великие, давно сошедшие в могилу гениальные силы русского театра. До сих пор живы в нём щепкинские традиции, оставшиеся в благородных, талантливых руках и сохранившиеся в них в безупречно чистом виде. Жизнь сделала, конечно, своё: идеализм и романтизм Щепкина получил дальнейшее развитие в современном натурализме, как сочетание красоты формы и красоты правды. Жизненность, естественность, зеркальную правдивость изображения видит зритель в Малом театре. Пред ним не проходят знакомые фигуры ходульных героев, козлогласующих и перевирающих жизнь. Вы видите даровитых артистов, вкладывающих в свои роли дисциплинированный ум и

чуткое сердце. Ряд художественных образов, созданных Г. Н. Федотовой, М. Н. Ермоловой, А. П. Ленским, А. И. Южиным и др., никогда не умрут в истории культуры России... И в то же время, будучи образцовой школой для сценических деятелей, Малый театр является и школою для жизни. Трудно измерить, учесть и представить в конкретных данных то глубокое духовное влияние, которое оказывал и оказывает Малый театр. Вместе с Московским университетом ему принадлежит крупная, выдающаяся роль в истории умственного развития русского общества,—и будущий историк Малого театра, несомненно, засвидетельствует, что эта роль выполнялась им безукоризненно.

Являясь последователями натуральной школы, артисты Малого театра резко разграничивают себя от новейших школ грубого золаистического натурализма, или, как остроумно выразился один русский критик, нана-туралнзма, и от того течения, которое выражается на сцене постановкою пустейших, бессмысленных, балаганных фарсов, развращающих толпу и понижающих её эстетический уровень. Высокие, гуманные цели в красивой форме—таковы задачи Малого театра. Хотя у нас гастролирует «молодая» труппа Малого театра, тем не менее она является его детищем, плотью от плоти, костью от кости. Присутствие же в труппе лучших сил «старого» театра гарантирует в том, что вся труппа на Всероссийской выставке будет лучшим художественным экспонатом России. Труппе можно предсказать блестящий успех,—и он, конечно, вознаградит артистов за тот упорный труд, какой им пришлось употребить для подготовки к нижегородской сцене. Репетиции нижегородских спектаклей труппа начала ещё в декабре прошлого года,—из этого видно, как серьёзно она относится к экспонированию образцовой русской сцены в Нижнем. В добрый час!

Вчера состоялся первый спектакль труппы Малого театра. Шли «Бешеные деньги». Успех—громадный.

1896 г.

[ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР]

Художественный театр—это так же хорошо и значительно, как Третьяковская галлерея, Василий Блаженный и всё самое лучшее в Москве. Не любить его—невозможно, не работать для него—преступление—ей богу!

Письмо к А. П. Чехову, 1900 г., сентябрь.

Дорогой и уважаемый
Владимир Иванович—

крепко жму Вашу руку—очень крепко!—и прошу Вас передать или прочитать юбилярам прилагаемую записку.

Простите, что опоздал поздравить Вас, Константина Сергеевича и всех сродников Ваших по 30-и летней работе, которую, не обинуясь, искренно считаю великой работой.

Здоровья, бодрости духа Вам и всем.

Письмо к Вл. И. Немировичу-Данченко. 1928 г.

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ М. ГОРЬКОГО АРТИСТАМ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ТЕАТРА.

Дорогие юбиляры—

опоздал я поздравить вас, но не сетуйте на меня за это, ведь от этого не остынет чувство моего уважения к вам и моего изумления перед плодотворностью, перед неутомимостью вашего творчества.

Вероятно, вы уже слышали всё, что следовало сказать вам и что,—наверное,—сказано о историческом значении вашей реформаторской артистической работы, о том, как чудесно много сделано вами для русского искусства, о том, какой мощ-

ный толчок дали вы развитию театра в России, Европе, Америке...

Я—не нахожу слов достаточно красочных для того, чтоб передать в них чувство моего искреннейшего восхищения 30-и летней работой вашей... Я... не забываю и не могу забыть того, как огромна и прекрасна ваша работа, сколько талантливых людей воспитано вами, как щедро обогатили вы свою страну прекрасными артистами. Вот историческая заслуга, которой вы имеете неоспоримое право гордиться так же, как и вашим личным артистическим творчеством.

Разрешите, старые товарищи, крепко пожать ваши руки и от всей души пожелать вам здоровья, а—главное бодрости духа.

М. Горький.

Кстати: сообщаю вам не затейливый, но великолепный комплимент, полученный мною на-днях; автор комплимента—уралец, казак, кооператор.

«Был в Художественном первом театре, сподобился. Эх, как играют,—настоящая жизнь карикатура против них. На улицу вышел и себя не чувствую, как с крыши в погреб свалился».

Вот вам.

1928 г.

ПИСЬМО К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ

Дорогой Константин Сергеевич!

Вы—признанный великий реформатор театрального искусства.

Вы и В. И. Немирович-Данченко создали образцовый театр, одно из крупнейших достижений русской художественной культуры, благотворное влияние вашего театра явно и признано во всём мире. Это—огромная и неоспоримая заслуга, она всем известна, и, может быть, мне не нужно было упоминать о ней.

Но есть в деятельности вашей скрытая где-то за кулисами ещё работа, особенно глубоко ценимая мною и восхищающая меня: какой вы чуткий и великий мастер в деле открытия та-

лантов, какой искуснейший ювелир в деле воспитания и обработки их!

Вы создали солиднейшую армию удивительно талантливых работников сцены, многие из них, идя вашим путём, тоже стали учителями сценического искусства, воспитали и непрерывно воспитывают новые группы отличных деятелей сцены. Вот работа ваша, культурное значение которой как будто ещё недооценено. И если вы нуждаетесь в благодарности Союза Советов, так она должна быть воздана вам прежде всего за эту вашу невидимую и, конечно, труднейшую работу создания лучших в мире артистов театрального искусства. Работой этой вы, прекрасный и тонкий артист, доказали ещё раз, как богата и неистощима героическая энергия нашей страны.

В одной из моих статей я назвал Страну Советов—счастливой. Немедленно кто-то из корреспондентов заметил мне, что я «обмолвился». Нет, я не обмолвился. Счастье начинается с ненависти к несчастью, с физиологической брезгливости ко всему, что искажает, уродует человека, с внутреннего органического отталкивания от всего, что ноет, стонет, вздыхает о дешевёньком благополучии, всё более разрушаемом бурею истории.

Мы, Константин Сергеевич, живём именно в счастливой стране, где быстро создаются все условия, необходимые для всяческого, материального и духовного, её обогащения, условия для свободного развития сил, способностей, талантов народа.

Не чувствуют счастья жить и работать в этой стране только те люди—нищие духом, которые видят одни трудности её роста и которые готовы продать душу свою за чечевичную похлёбку мещанского, смиренького благополучия.

Вы, дорогой Константин Сергеевич, удивительно много сделали и ещё немало сделаете в своей области для счастья нашего народа, для роста его духовной красоты и силы. Почтительно кланяюсь вам, красавец человек, великий артист и могучий работник, воспитатель артистов.

Сердечно обнимаю—М. Горький.

10/I—33 г.

Придерживая очки, Самгин смотрел и застывал в каком-то, ещё не испытанном холоде. Артиста этого он видел на сцене театра в царских одеждах трагического царя Бориса, видел его безумным и страшным Олоферном, ужаснейшим царём Иваном Грозным при въезде его во Псков,—маленькой, кошмарной фигуркой с плетью в руках, сидевшей криво на коне, над людями, которые кланялись в ноги коню его; видел гибким Мефистофелем, пламенным сарказмом над людями, над жизнью; великолепно, поражающе изображал этот человек ужас безграничия власти. Видел его Самгин в концертах, во фраке,—фрак казался всегда чужой одеждой, как-то принижающей эту мощную фигуру с её лицом умного мужика.

Теперь он видел Фёдора Шаляпина стоящим на столе, над людями, точно монумент. На нём простой пиджак серо-каменного цвета, и внешне артист такой же обыкновенный, домашний человек, каковы все вокруг него. Но его чудесный, красноречивый, дьявольски умный голос звучит с потрясающей силой,—таким Самгин ещё никогда не слышал этот неисчерпаемый голос. Есть что-то страшное в том, что человек этот обыкновенен, как все тут, в огнях, в дыму, страшное в том, что он так же прост, как все люди, и—не похож на людей. Его лицо—ужаснее всех лиц, которые он показывал на сцене театра. Он пел и—вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой сути своей души и эта суть месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского существа...

...В зале снова кипел оглушающий шум, люди стонали, вопили:

— Повторить! Бис! Ещё-о!

И неистощимый голос снова подавил весь шум:

«— Так иди-же вперёд, мой великий народ...»

Жизнь Клима Самгина, ч. 2.
1928 г.

О СТАСОВЕ

На севере, за Волгой, в деревнях, спрятанных среди лесов, встречаются древние старики, искалеченные трудом, но всегда полные бодрости духа, непонятной и почти чудесной, если не забыть долгие годы их жизни, полной труда и нищеты, неисчерпаемого горя и незаслуженных обид.

В каждом из них живёт что-то детское, сердечное, порою забавное, но всегда—какое-то особенное, умное, возбуждающее доверие к людям, грустную, но крепкую любовь к ним.

Такие старики—Гомеры и Плутархи своей деревни: они знают её историю—бунты и пожары, порки, убийства, суровые сборы податей,—знают все песни и обряды, помнят героев деревни и преступников, её предателей и честных мирян и умеют равномерно воздать должное всем.

В этих людях меня поражала их любовь к жизни—растению, животному, человеку и звезде—их чуткое понимание красоты и необоримая, инстинктивная вера исторически молодого племени в своё будущее.

Когда я впервые встретил В. В. Стасова, я почувствовал в нём именно эту большую, бодрую любовь к жизни и эту веру в творческую энергию людей.

Его стихией, религией и богом было искусство, он всегда казался пьяным от любви к нему—и, бывало, слушая его торопливые, наскоро построенные речи, невольно думалось, что он предчувствует великие события в области творчества, что он стоит накануне создания каких-то крупных произведений литературы, музыки, живописи, всегда с трепетною радостью ребёнка ждёт светлого праздника.

Он говорил об искусстве так, как будто всё оно было создано его предками по крови—прадедом, дедом, отцом, как будто искусство создают во всём мире его дети, а будут создавать внуки, и казалось, что этот чудесный старик всегда и везде чувствует юным сердцем тайную работу человеческого духа—мир для него был мастерской, в которой люди пишут картины, книги, строят музыку, высекают из мрамора прекрасные тела, создают величественные здания, и, право, порою мне казалось,

что всё, что он говорит, сливается у него в один жадный крик.

— Скорей! Дайте взглянуть, пока я жив...

Он верил в неиссякаемую энергию мирового творчества, и каждый час был для него моментом конца работы над одними вещами, моментом начала создания ряда других.

Однажды, рассказывая мне о Рибейре, он вдруг замолчал, потом серьёзно заметил:

— Иногда вот говоришь или думаешь о чём-нибудь, и вдруг сердце радостно вздрогнет...

Замолчал, потом, смеясь, сказал:

— Мне кажется, что в такую минуту или гений родился, или кто-нибудь сделал великое дело.

Заговорили при нём о политике. Он послушал немного и убедительно посоветовал:

— Да бросьте вы политику—не думайте о гадостях! Ведь от этих ваших войн и всей подлости ничего не останется—разве вы не видите? Рубенс есть, а Наполеона—нет, Бетховен есть, а Бисмарка нет. Нет их!

И было ясно, что он несокрушимо верит в правду своих слов.

Политику он не любил, морщился, вспоминая о ней, как о безобразии, которое мешает людям жить, портит им мозг, отталкивает от настоящего дела. Но одна из его родственниц постоянно сидела в тюрьмах,—он говорил о ней с гордостью, уважением и любовью, и каждый арест, о котором он слышал, искренно огорчал его.

— Губят людей. Лучшее на земле раздражают и злят—юношество. Ах, скоты!

Всё, в чём была хоть искра красоты, было духовно близко, родственно Стасову, возбуждало и радовало его. Своей большой любовью он обнимал всю массу красивого в жизни—от полевого цветка и колоса пшеницы до звёзд, от тонкой чеканки на древнем мече и народной песни до строчки стиха новейших поэтов.

Порицая модернистов, он обиженно говорил:

— Почему это—стихи? О чём стихи? Прекрасное просто,

оно—понятно, а этого я не понимаю, не чувствую, не могу принять...

Но однажды я услышал от него:

— Знаете, вчера читали мне этого, Х.,—хорошо! Тонко! Такими стихами можно многое сказать о тайнах души... И—музыкально...

Старость консервативна, это её главное несчастие; В. В. многое «не мог принять», но его отрицание исходило из любви: оно вызывалось ревностью. Ведь каждый из нас чего-то не понимает, все более или менее грешат торопливостью выводов, и никто не умеет любить будущее, хотя всем пора бы догадаться, что именно в нём скрыто наилучшее и величайшее.

Около В. В. всегда можно было встретить каких-то юных людей, и он постоянно, с некой таинственностью в голосе, рекомендовал их как великих поэтов, музыкантов, художников и скульпторов—в будущем. Мне кажется, что такие юноши окружали его на протяжении всей жизни; известно, что не одного из них он ввёл в храм искусства.

Седой ребёнок большого роста, с большим и чутким сердцем, он много видел, много знал, он любил жизнь и возбуждал любовь к ней.

Искусство создаёт тоску по красоте; неутолимое желание прекрасного порою принимает характер безумия,—но когда страсть бессильна,—она кажется людям смешной. Многое в исканиях современных художников было чуждо В. В., непонятно, казалось ему уродливым, он волновался, сердился, отрицал. Но для меня в его отрицаниях горело пламя великой любви к прекрасному, и, не мешая видеть печальную красоту уродливого, оно освещало грустную драму современного творчества—обилие желаний и ничтожество сил.

Я мало знал В. В.—таким он мне казался,—и эти строки всё, что я могу вспомнить о нём.

Мне жалко, что я знал его мало,—жизнь не часто дарит радость говорить о человеке с искренним к нему уважением.

Когда он умер—я подумал:

— Вот человек, который делал всё, что мог, и всё, что мог,—сделал.

1910 г.

Берегите картины, статуи, здания — это воплощение духовных сил ваших и предков ваших. Искусство — это то прекрасное, что талантливые люди сумели создать даже под гнётом деспотизма. Не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, здания, старинные вещи, документы. Всё это ваша история, ваша гордость.

Обращение Комитета, организованного М. Горьким в начале 1917 года для охраны музеев, произведений искусства, исторических памятников Петрограда.

ЛЮДИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДВИГА

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, чёрной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и—тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике—жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,—стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,—им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стан волн объятьем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утёсы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком рвет, чёрной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,—гордый, чёрный демон бури,—и смеётся, и рыдает... Он над тучами смеётся, он от радости рыдает!

В гневе грома,—чуткий демон,—он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,—нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стан туч над бездной моря. Море лелеит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

1901 г.

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

(Отрывок)

«Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

«Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

«А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

«Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

«Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

«С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твёрдый камень...

«Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

«Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел он ей прямо в очи:

«— Что, умираешь?

«— Да, умираю!—ответил Сокол, вздохнув глубоко.—Я слав-

но пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх, ты, бедняга!

«— Ну, что же—небо?—пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

«Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

«И так подумал: «летай иль ползай, конец известен; все в землю лягут, всё прахом будет...»

«Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повёл очами.

«Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье тёмном, и пахло гнилью.

«И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

«— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

«А Уж подумал: «должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

«И предложил он свободной птице:—«А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся.

«Быть может, крылья тебя поднимут и поживёшь ещё немного в твоей стихии».

«И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошёл к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

«И подошёл он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и—вниз скатился.

«И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

«Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.

«А волны моря с печальным рёвом о камень бились... И трупа птицы не видно было в морском пространстве...

«В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

«И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

«— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полётам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо хоть не надолго.

«Сказал и—сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

«Рождённый ползать—летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

«— Так вот в чём прелесть полётов в небо! Она—в паденьи!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам всё знаю! Я—видел небо... Взлетел в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье—землёй живу я.

«И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

«Блестело море всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

«В их львином рёве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поём мы славу!

«Безумство храбрых—вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью... Но будет время—и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

«Безумству храбрых поём мы песню!..»

1895 г.

[ЛЕГЕНДА О ДАНКО]
«СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ»

(Отрывок)

«Жили на земле встарину одни люди, непроходимые леса окружали с трёх сторон таборы этих людей, а с четвёртой—была степь. Были это весёлые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжёлая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то поднимался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жёны и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна—назад,—там были сильные и злые враги, другая—вперёд,—там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днём, в сером сумраке, и ещё плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днём и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А ещё страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были всё-таки сильные люди и могли бы они пойти биться на смерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всё казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто—ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы.

И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых,— и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всё громче и громче... Уже хотели итти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос её, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«— Данко один из тех людей, молодой красавец. Красивые— всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

«— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу и тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его сквозь, ведь имеет же он конец—всё на свете имеет конец! Идёмте! Ну! Гей!..

«Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

«— Веди ты нас!—сказали они.

«Тогда он повёл...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повёл их Данко. Дружно все пошли за ним—верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Всё гуще становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повёл их куда-то. А он шёл впереди их и был бодр и ясен.

«Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья

глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нём собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди, между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнём и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещённые холодным огнём молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, тёмное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомлённые им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и в гневе обрушились на Данко, человека, который шёл впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими,—вот как!

«Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

«— Ты,—сказали они,—ничтожный и вредный человек для нас! Ты повёл нас и утомил, и за это ты погибнешь!

«— Вы сказали: «веди!»— и я повёл!—крикнул Данко, становясь против них грудью.—Во мне есть мужество вести, вот потому я повёл вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

«Но эти слова разъярили их ещё более.

«— Ты умрёшь! Ты умрёшь!—ревели они.

«А лес всё гудел и гудет, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понёс труд, и видел, что они—как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнём желания спасти их, вывести на лёгкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали,

что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого ещё ярче загорелось в нём сердце, ибо эта их дума родила в нём тоску.

А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь.

«— Что сделаю я для людей?!—сильнее грома крикнул Данко.

«И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из неё своё сердце и высоко поднял его над головой.

«Оно пылало, так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом великой любви к людям, а тьма разлеталась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни.

«— Идём!—крикнул Данко и бросился вперёд на своё место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

«Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивлённо качая вершинами, но его шум был заглушён топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слёз. А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождём. Гроза была—там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струёй из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперёд себя на ширь степи гордый смельчак Данко,—кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и—умер.

«Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это

и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

«Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!»

1895 г.

Наша революция изумительно глубока, разносторонна, она должна быстро создать в передовых слоях революционной массы людей стойких, мудрых, и она должна кончиться крупным социальным завоеванием.

Письмо к И. Ладыжникову. 1907 г., июнь.

...В России единственный истинный элемент—её революционеры, её крайние партии. Только они стоят в непосредственной близости массы русского народа, и только они знают цену свободы, цену культуры.

Письмо А. Галлену. 1907 г.

...Для меня революция столь же строго-законное и благостное явление жизни, как судороги младенца во чреве матери, а русский революционер—со всеми его недостатками—феномен, равного которому по красоте духовной, по силе любви к миру—я не знаю.

Письмо к С. Венгрову. 1908 г.

МАТЬ

Отрывки (гл. V, XV 1-й ч. и гл. XXIX 2-й ч.)

V.

И снова они стали жить молча, далёкие и близкие друг другу.

Однажды среди недели, в праздник, Павел, уходя из дома, сказал матери:

— В субботу у меня будут гости из города.

— Из города?—повторила мать и—вдруг—всхлипнула.

— Ну, о чём, мамаша?—недовольно воскликнул Павел.

Она, утирая лицо фартуком, ответила, вздыхая:

— Не знаю,—так уж...

— Боишься?

— Боюсь!—созналась она.

Он наклонился к её лицу и сердито—точно его отец—проговорил:

— От страха все мы и пропадаем! А те, кто командует нами, пользуются нашим страхом и ещё больше запугивают нас.

Мать тоскливо взвыла:

— Не сердись! Как мне не бояться? Всю жизнь в страхе жила,—вся душа обросла страхом!

Негромко и мягче он сказал:

— Ты прости меня,—иначе нельзя!

И ушёл.

Три дня у неё дрожало сердце, замирая каждый раз, как она вспоминала, что в дом придут какие-то чужие люди, странные. Это они указали сыну дорогу, по которой он идёт...

В субботу, вечером, Павел пришёл с фабрики, умылся, переоделся и, снова уходя куда-то, сказал, не глядя на мать:

— Придут—скажи, что я сейчас ворочусь. И, пожалуйста, не бойся...

Она бессильно опустилась на лавку. Сын хмуро взглянул на неё и предложил:

— Может быть, ты... уйдёшь куда-нибудь?

Это её обидело. Отрицательно качнув головой, она сказала:

— Нет. Зачем же?

Был конец ноября. Днём на мёрзлую землю выпал сухой, мелкий снег, и теперь было слышно, как он скрипит под ногами уходившего сына. К стёклам окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то. Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала...

Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонам, люди, страшно одетые, не добрые. Вот кто-то уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене.

Стал слышен свист. Он извивался в тишине тонкой струйкой, печальной и мелодичной, задумчиво плутал в пустые тьмы, искал чего-то, приближался. И вдруг исчез под окном, точно воткнувшись в дерево стены.

В сенях зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула и, напряжённо подняв брови, встала.

Дверь отворили. Сначала в комнату всунулась голова в большой, мохнатой шапке, потом, согнувшись, медленно пролезло длинное тело, выпрямилось, не торопясь подняло правую руку и, шумно вздохнув, густым, грудным голосом сказало:

— Добрый вечер!

Мать молча поклонилась.

— А Павла дома нету?

Человек медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул шапкой снег с сапога, потом то же сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь на длинных ногах, пошёл в комнату. Подошёл к стулу, осмотрел его, как бы убеждаясь в прочности, наконец сел и, прикрыв рот рукой, зевнул. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена, бритые щёки и длинные усы концами вниз. Внимательно осмотрев комнату большими, выпуклыми глазами серого цвета, он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил:

— Что ж это ваша хата, или—нанимаете?

Мать, сидя против него, ответила:

— Нанимаем.

— Неважная хата!—заметил он.

— Паша скоро придёт, вы подождите!—тихо попросила мать.

— Да я уже и жду!—спокойно сказал длинный человек.

Его спокойствие, мягкий голос и простота лица ободряли мать. Человек смотрел на неё открыто, доброжелательно, в глубине его прозрачных глаз играла весёлая искра, а во всей фигуре, угловатой, сутулой, с длинными ногами, было что-то забавное и располагающее к нему. Одет он был в синюю рубашку и чёрные шаровары, сунутые в сапоги. Ей захотелось спросить его—кто он, откуда, давно ли знает её сына, но вдруг он весь покачнулся и сам спросил её:

— Кто ж это лоб пробил вам, нешко?

Спросил он ласково, с ясной улыбкой в глазах, но—женщину обидел этот вопрос. Она поджала губы и, помолчав, с холодной вежливостью осведомилась:

— А вам какое дело до этого, батюшка мой?

Он мотнулся к ней всем телом:

— Да вы не серчайте, чего же! Я потому спросил, что у матери моей приёмной тоже голова была пробита, совсем рот так, как ваша. Ей, видите, сожитель пробил, сапожник, колодкой. Она была прачка, а он сапожник. Она,—уже после того как приняла меня за сына,—нашла его где-то, пьяницу, на своё великое горе. Бил он её, скажу вам! У меня со страху кожа лопалась...

Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью, и ей подумалось, что, пожалуй, Павел рассердится на неё за неласковый ответ этому чудаку. Виновато улыбаясь, она сказала:

— Я не рассердилась, а уж очень вы сразу... спросили. Муженёк это угостил меня, царство ему небесное! Вы не татарин будете?

Человек дрыгнул ногами и так широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись к затылку. Потом он серьёзно сказал:

— Нет ещё.

— Говор у вас как будто не русский!—объяснила мать улыбаясь, поняв его шутку.

— Он—лучше русского!—весело кивнув головой, сказал гость.—Я хохол, из города Канева.

— А давно здесь?

— В городе жил около года, а теперь перешёл к вам на фабрику, месяц тому назад. Здесь людей хороших нашёл,—сына вашего и других. Здесь—поживу!—говорил он, дёргая усы.

Он ей нравился и, повинуясь желанию заплатить ему чем-нибудь за его слова о сыне, она предложила.

— Может, чайку выпьете?

— Что же я один угощаться буду?—ответил он, подняв плечи.—Вот уже когда все соберутся, вы и почествуйте...

Он напомнил ей об её страхе.

— Кабы все такие были!—горячо пожелала она.

Снова раздались шаги в сенях, дверь торопливо отворилась—мать снова встала. Но к её удивлению в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым лицом крестьянки и толстой косой светлых волос. Она тихо спросила:

— Не опоздала я?

— Да нет же!—ответил хохол, выглядывая из комнаты.—Пешком?

— Конечно! Вы—мать Павла Михайловича? Здравствуйте! Меня зовут—Наташа...

— А по батюшке?—спросила мать.

— Васильевна. А вас?

— Пелагея Ниловна.

— Ну, вот, мы и знакомы...

— Да!—сказала мать, легко вздохнув, с улыбкой рассматривая девушку.

Хохол помогал ей раздеваться и спрашивал:

— Холодно?

— В поле—очень! Ветер...

Голос у неё был сочный, ясный, рот маленький, пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись, она крепко потёрла румяные щёки маленькими, красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблуками ботинок.

«Без галош ходит!»—мелькнуло в голове матери.

— Да-а,—протянула девушка, вздрагивая.—Иззябла я... ух, как!

— А, вот, я вам сейчас самоварчик согрею!—заторопилась мать, уходя в кухню.—Сейчас...

Ей показалось, что она давно знает эту девушку и любит её хорошей, жалостливой любовью матери. Улыбаясь, она прислушивалась к разговору в комнате.

— Вы что скучный, Находка?—спрашивала девушка.

— А—так,—негромко ответил хохол.—У вдовы глаза хорошие, мне и подумалось, что, может, у матери моей такие же? Я, знаете, о матери часто думаю, и всё мне кажется, что она жива.

— Вы говорили умерла?

— То—приёмная умерла. А я—о родной. Кажется мне, что она где-нибудь в Киеве милостыню собирает. И водку пьёт. А пьяную её полицейские по щекам бьют.

«Ах, ты, сердечный!»—подумала мать и вздохнула.

Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла.

— Э, вы ещё молоды, товарищ,—мало луку ели! Родить—трудно, научить человека добру ещё труднее...

— Ишь ты!—внутренно воскликнула мать, и ей захотелось сказать хохлу что-то ласковое. Но дверь неторопливо открылась, и вошёл Николай Весовщиков, сын старого вора Даниды, известный всей слободе нелюдим. Он всегда угрюмо сторонился людей, и над ним издевались за это. Она удивлённо спросила его:

— Ты что, Николай?

Он вытер широкой ладонью рябое, скуластое лицо и, не здороваясь, глухо спросил:

— Павел дома?

— Нет.

Он заглянул в комнату, прошёл туда, говоря:

— Здравствуйте, товарищи...

«Этот?»—неприязненно подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку ласково и радостно.

Потом пришли двое парней, почти ещё мальчики. Одного из них мать знала,—это племянник старого фабричного рабочего Сизова—Фёдор, остролицый, с высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причёсанный и скромный, был незнаком ей, но тоже не страшен. Наконец явился Павел и с ним два молодых человека, она знала их, оба—фабричные. Сын ласково сказал ей:

— Самовар поставила? Вот спасибо!

— Может, водочки купить?—предложила она, не зная, как выразить ему свою благодарность за что-то, чего ещё не понимала.

— Нет, это лишнее!—отозвался Павел, дружелюбно улыбаясь ей.

Ей вдруг подумалось, что сын нарочно преувеличил опасность собрания, чтобы подшутить над ней.

— Вот это и есть—запрещённые люди?—тихонько спросила она.

— Эти самые!—ответил Павел, проходя в комнату.

— Эх ты!..—проводила она его ласковым восклицанием, а про себя снисходительно подумала: «Дитя ещё!»

XV

Рабочие сразу заметили новую торговку. Одни, подходя к ней, одобрительно говорили:

— За дело взялась, Ниловна?

И одни утешали, доказывая, что Павла скоро выпустят, другие тревожили её печальное сердце словами соболезнования, третьи озлобленно ругали директора, жандармов, находя в груди её ответное эхо. Были люди, которые смотрели на неё злорадно, а табельщик Исай Горбов сказал сквозь зубы:

— Кабы я был губернатором, я бы твоего сына—повесил! Не сбивай народ с толку!

От этой злой угрозы на неё повеяло мёртвым холодом. Она ничего не сказала в ответ Исаю, только взглянула в его маленькое, усеянное веснушками лицо и, вздохнув, опустила глаза в землю.

На фабрике было неспокойно, рабочие собирались кучками, о чём-то вполголоса говорили между собой, всюду шныряли озабоченные мастера, порою раздавались ругательства, раздражённый смех.

Двое полицейских провели мимо неё Самойлова; он шёл, сунув одну руку в карман, а другой приглаживал свои рыжеватые волосы.

Его провожала толпа рабочих, человек в сотню, погоняя полицейских руганью и насмешками...

— Гулять пошёл, Гриша!—крикнул ему кто-то.

— Почёт нашему брату!—поддержал другой.—Со стражей ходим...

И крепко выругался.

— Воров ловить, видно, невыгодно стало!—зло и громко говорил высокий и кривой рабочий.—Начали честных людей таскать...

— Хоть бы ночью таскали!—вторил кто-то из толпы.—А то днём—без стыда,—сволочи!

Полицейские шли угрюмо, быстро, стараясь ничего не видеть и будто не слыша восклицаний, которыми провожали их. Встречу им трое рабочих несли большую полосу железа и, направляя её на них, кричали:

— Берегитесь, рыбаки!

Проходя мимо Власовой, Самойлов, усмехаясь, кивнул ей головой и сказал:

— Поволокли!

Она молча, низко поклонилась ему, её трогали эти молодые, честные, трезвые, уходившие в тюрьму с улыбками на лицах; у неё возникала жалостливая любовь матери к ним.

Воротясь с фабрики, она провела весь день у Марьи, помогая ей в работе и слушая её болтовню, а поздно вечером пришла к себе в дом, где было пусто, холодно и неуютно. Она долго совалась из угла в угол, не находя себе места, не зная, что делать. И её беспокоило, что вот уже скоро ночь, а Егор Иванович не несёт литературу, как он обещал.

За окном мелькали тяжёлые, серые хлопья осеннего снега. Мягко приставая к стёклам, они бесшумно скользили вниз и таяли, оставляя за собой мокрый след. Она думала о сыне...

В дверь осторожно постучались, мать быстро подбежала, сняла крючок,—вошла Сашенька. Мать давно её не видала, и теперь первое, что бросилось ей в глаза, это неестественная полнота девушки.

— Здравствуйте!—сказала она, радуясь, что пришёл человек и часть ночи она проведёт не в одиночестве.—Давно не видать было вас. Уезжали?

— Нет, я в тюрьме сидела!—ответила девушка, улыбаясь.—Вместе с Николаем Ивановичем,—помните его?

— Как же не помнить!—воскликнула мать.—Мне вчера Егор Иванович говорил, что его выпустили, а про вас я не знала... Никто и не сказал, что вы там...

— Да что же об этом говорить?..—Мне,—пока не пришёл Егор Иванович,—переодеться надо!—сказала девушка, оглядываясь.

— Мокрая вы вся...

— Я листовки и книжки принесла...

— Давайте, давайте!—заторопилась мать.

Девушка быстро расстегнула пальто, встряхнулась, и с неё, точно листья с дерева, посыпались на пол, шелестя, пачки бумаги. Мать, смеясь, подбирала их с пола и говорила:

— А я смотрю—полная вы такая, думала замуж вышли, ребёночка ждёте. Ой-ой, сколько принесли! Неужели пешком?

— Да!—сказала Сашенька. Она теперь снова стала стройной и тонкой, как прежде. Мать видела, что щёки у неё ввалились, глаза стали огромными и под ними легли тёмные пятна.

— Только что выпустили вас,—вам бы отдохнуть, а вы!—вздохнув и качая головой, сказала мать.

— Нужно!—ответила девушка, вздрагивая.—Скажите, как Павел Михайлович,—ничего?.. Не очень взволновался?

Спрашивая, Сашенька не смотрела на мать; наклонив голову, она поправляла волосы, и пальцы её дрожали.

— Ничего!—ответила мать.—Да ведь он себя не выдаст.

— Ведь у него крепкое здоровье?—тихо проговорила девушка.

— Не хворал никогда!—ответила мать.—Дрожите вы вся. Вот я чаем вас напою с вареньем малиновым.

— Это хорошо бы! Только стоит ли вам беспокоиться? Поздно. Давайте, я сама...

— Усталая-то?—укоризненно отозвалась мать, принимаясь возиться около самовара. Саша тоже вышла в кухню, села там на лавку и, закинув руку за голову, заговорила:

— Все-таки,—ослабляет тюрьма. Проклятое безделье! Нет ничего мучительнее. Знаешь, как много нужно работать, и — сидишь в клетке, как зверь...

— Кто вознаградит вас за всё?—спросила мать.

И, вздохнув, ответила сама себе:

— Никто, кроме господа! Вы, поди-ка, тоже не верите в него?

— Нет!—кратко ответила девушка, качнув головой.

— А я вот вам не верю!—вдруг возбуждаясь, заявила мать.

И быстро вытирая запачканные углем руки о фартук, она с глубоким убеждением продолжала:

— Не понимаете вы веры вашей! Как можно без веры в бога жить такою жизнью?

В сенях кто-то громко затопал, заворчал, мать вздрогнула, девушка быстро вскочила и торопливо зашептала:

— Не отпирайте! Если это—они, жандармы, вы меня не знаете!.. Я—ошиблась домом, зашла к вам случайно, упала в обморок, вы меня раздели, нашли книги,—понимаете?

— Милая вы моя,—зачем?—умилённо спросила мать.

— Подождите!—прислушиваясь, сказала Сашенька.—Это, кажется, Егор...

Это был он, мокрый и задыхающийся от усталости.

— Ага! Самоварчик?—воскликнул он.—Это лучше всего в жизни, мамаша! Вы уже здесь, Сашенька?

Наполняя маленькую кухню хриплыми звуками, он медленно стаскивал тяжёлое пальто и, не останавливаясь, говорил:

— Вот, мамаша, девица неприятная для начальства! Будучи обижена смотрителем тюрьмы, она объявила ему, что уморит себя голодом, если он не извинится перед ней, и восемь дней не кушала, по какой причине едва не протянула ножки. Недурно? Животик-то у меня каков?

Болтая и поддерживая короткими руками безобразно отвисший живот, он прошёл в комнату, затворил за собою дверь, но и там продолжал что-то говорить.

— Неужто восемь дней не кушали вы?—удивлённо спросила мать.

— Нужно было, чтобы он извинился предо мной! — отвечала девушка, зябко поводя плечами. Её спокойствие и суровая настойчивость отозвались в душе матери чем-то похожим на упрёк.

«Вот как!..»—подумала она и снова спросила:

— А если бы умерли?

— Что же поделаешь!—тихо отозвалась девушка.—Он всё-таки извинился. Человек не должен прощать обиду.

— Да-а...—медленно отозвалась мать.—А вот нашу сестру всю жизнь обижают...

— Я разгрузился!—объявил Егор, отворяя дверь.—Самоварчик готов? Позвольте, я его втащу...

Он поднял самовар и понёс его, говоря:

— Собственноручный мой папаша выпивал в день не менее двадцати стаканов чаю, почему и прожил на сей земле безболезненно и мирно семьдесят три года. Имел он восемь пудов весу и был дьячком в селе Воскресенском...

— Вы отца Ивана сын?—воскликнула мать.

— Именно! А почему вам сие известно?

— Да я из Воскресенского!..

— Землячка? Чьих будете?

— Соседи ваши! Серёгина я.

— Хромого Нила дочка? Лицо мне знакомое, ибо не однажды драл меня за уши...

Они стояли друг против друга и, осыпая один другого вопросами, смеялись. Сашенька, улыбаясь, посмотрела на них и стала заваривать чай. Стук посуды возвратил мать к настоящему.

— Ой, простите, заговорилась! Очень уж приятно земляка видеть...

— Это мне нужно просить прощения за то, что я тут распоряжаюсь! Но уж одиннадцатый час, а мне далеко итти...

— Куда итти? В город?—удивлённо спросила мать.

— Да.

— Что вы? Темно, мокро,—устали вы! Ночуйте здесь, Егор Иванович в кухне ляжет, а мы с вами тут...

— Нет, я должна итти!—просто заявила девушка.

— Да, землячка, требуется, чтобы барышня исчезла. Её здесь знают. И, если она завтра покажется на улице, это будет нехорошо!—заявил Егор.

— Как же она? Одна пойдёт?..

— Пойдёт!—сказал Егор, усмехаясь.

Девушка налила себе чаю, взяла кусок ржаного хлеба, посолила и стала есть, задумчиво глядя на мать.

— Как это вы ходите? И вы, и Наташа? Я бы не пошла,—боязно!—сказала Власова.

— Да и она боится!—заметил Егор.—Вы боитесь, Саша?

— Конечно!—ответила девушка.

Мать взглянула на неё, на Егора и тихонько воскликнула:

— Какие вы... строгие!

Выпив чаю, Сашенька молча пожала руку Егора, пошла в кухню, а мать, провожая её, вышла за нею. В кухне Сашенька сказала:

— Увидите Павла Михайловича—передайте ему мой поклон! Пожалуйста!

А взявшись за скобу двери, вдруг обернулась, негромко спросив:

— Можно поцеловать вас?

Мать молча обняла её и горячо поцеловала.

— Спасибо!—тихо сказала девушка и, кивнув головой, ушла.

Возвратясь в комнату, мать тревожно взглянула в окно. Во тьме тяжело падали мокрые хлопья снега.

— А Прозоровых помните?—спросил Егор.

Он сидел, широко расставив ноги, и громко дул на стакан чаю. Лицо у него было красное, потное, довольное.

— Помню, помню!—задумчиво сказала мать, боком подходя к столу. Села и, глядя на Егора печальными глазами, медленно протянула:—Ай-ай-яй! Сашенька-то? Как она дойдёт?

— Устанет!—согласился Егор.—Тюрьма её сильно пошатнула, раньше девица крепче была... К тому же воспитания она нежного... Кажется—уже испортила себе лёгкие...

— Кто она такая?—тихо осведомилась мать.

— Дочь помещика одного. Отец—большой прохвост, как она говорит. Вам, мамаша, известно, что они хотят пожениться?

— Кто?

— Она и Павел. Но—вот, всё не удаётся, он на воле, она в тюрьме и наоборот!

— Я этого не знала!—помолчав ответила мать.—Паша о себе ничего не говорит...

Теперь ей стало ещё больше жалко девушку, и, с невольной неприязнью взглянув на гостя, она проговорила:

— Вам бы проводить её!..

— Нельзя!—спокойно ответил Егор.—У меня здесь куча дела, и я с утра должен буду целый день ходить, ходить, ходить. Занятие немилое, при моей одышке...

— Хорошая она девушка,—неопределённо проговорила мать, думая о том, что сообщил ей Егор. Ей было обидно услышать это не от сына, а от чужого человека, и она плотно поджала губы, низко опустив брови.

— Хорошая!—кивнул головой Егор.—Вижу я—вам её жалко. Напрасно! У вас нехватит сердца, если вы начнёте жалеть всех нас, крамольников. Всем живётся не очень легко, говоря правду. Вот недавно воротился из ссылки мой товарищ. Когда он ехал через Нижний—жена и ребёнок ждали его в Смоленске, а когда он явился в Смоленск—они уже были в московской тюрьме. Теперь очередь жены ехать в Сибирь. У меня тоже была жена, превосходный человек, пять лет такой жизни свели её в могилу...

Он залпом выпил стакан чаю и продолжал рассказывать. Перечислял годы и месяцы тюремного заключения, ссылки, сообщал о разных несчастиях, об избиениях в тюрьмах, о голоде в Сибири. Мать смотрела на него, слушала и удивлялась, как просто и спокойно он говорил об этой жизни, полной страданий, преследований, издевательств над людьми...

— Но—поговоримте о деле!

Голос его изменился, лицо стало серьёзнее. Он начал спрашивать её, как она думает пронести на фабрику книжки, а мать удивлялась его тонкому знанию разных мелочей.

Кончив с этим, они снова стали вспоминать о своём родном селе; он шутил, а она задумчиво бродила в своём прошлом, и оно казалось ей странно похожим на болото, однообразно усеянное кочками, поросшее тонкой, пугливо дрожащей осиной, невысокою елью и заплутавшимися среди кочек белыми берёзами. Берёзы росли медленно и, простояв лет пять на зыбкой, гнилой почве, падали и гнили. Она смотрела на эту картину, и ей было нестерпимо жалко чего-то. Перед нею стояла фигура девушки, с резким, упрямым лицом. Она теперь шла среди мокрых хлопьев снега, одинокая, усталая. А сын сидит в тюрьме. Может быть, он не спит ещё, думает... Но думает не о ней, о матери,—у него есть человек ближе неё. Пёстрой, спутанной тучей ползли на неё тяжёлые мысли и крепко обнимали сердце...

— Устали вы, мамаша! Давайте-ка, ляжем спать!—сказал Егор, улыбаясь.

Она простилась с ним и боком, осторожно прошла в кухню, унося в сердце едкое, горькое чувство.

Поутру, за чаем, Егор спросил её:

— А если вас сцапают—спросят, откуда вы взяли все эти еретицкие книжки—вы что скажете?

— Не ваше дело, скажу!—ответила она.

— Они с этим ни за что не согласятся!—возразил Егор.—Они глубоко убеждены, что это—именно их дело. И будут спрашивать усердно, долго.

— А я не скажу!

— А вас в тюрьму!

— Ну что ж? Слава богу—хоть на это гожусь!—сказала она, вздыхая.—Кому я нужна? Никому. А пытать не будут, говорят...

— Гм!—сказал Егор, внимательно посмотрев на неё.—Пытать—не будут. Но хороший человек должен беречь себя...

— У вас этому не научишься!—ответила мать, усмехаясь.

Егор, помолчав, прошёлся по комнате, потом подошёл к ней и сказал:

— Трудно, землячка! Чувствую я—очень трудно вам!

— Всем трудно!—махнув рукой, ответила она.—Может, только тем, которые понимают, им—полегче... Но я тоже по-немножку понимаю, чего хотят хорошие-то люди...

— А коли вы это понимаете, мамаша, значит, всем вы им нужны—всем!—серьёзно сказал Егор.

Она взглянула на него и молча усмехнулась.

В полдень она спокойно и деловито обложила свою грудь книжками и сделала это так ловко и удобно, что Егор с удовольствием щёлкнул языком, заявив:

— Зер гут! как говорит хороший немец, когда выпьет ведро пива. Вас, мамаша, не изменила литература: вы остались доброй, пожилой женщиной, полной и высокого роста. Да благословят бесчисленные боги ваше начинание!..

Через полчаса, согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и уверенная, она стояла у ворот фабрики. Двое сторожей,

раздражаемые насмешками рабочих, грубо ощупывали всех входящих во двор, переругиваясь с ними. В стороне стоял полицейский и тонконогий человек с красным лицом, с быстрыми глазами. Мать, передвигая коромысло с плеча на плечо, исподлобья следила за ним, чувствуя, что это шпион.

Высокий, кудрявый парень в шапке, сдвинутой на затылок, кричал сторожам, которые обыскивали его:

— Вы, черти, в голове ищите, а не в кармане!

Один из сторожей ответил:

— У тебя в голове, кроме вшей, ничего нет...

— Вам и ловить вшей, а не ершей! -откликнулся рабочий.

Шпион окинул его быстрым взглядом и сплюнул.

— Меня-то пропустил бы!—попросила мать.—Видите, человек с ношей, спина ломится!

— Иди, иди!—сердито крикнул сторож.—Рассуждает, тоже...

Мать дошла до своего места, составила корчаги на землю и, отирая пот с лица, оглянулась.

К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы и старший, Василий, хмуря брови, громко спросил:

— Пироги есть?

— Завтра принесу!—ответила она.

Это был условленный пароль. Лица братьев просветлели. Иван, не утерпев, воскликнул:

— Эх, ты, мать честная...

Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу и в то же время за пазухой у него очутилась пачка листовок.

— Иван,—громко говорил он,—не пойдём домой, давай у неё обедать!—А сам быстро засовывал книжки в голенища сапог.—Надо поддержать новую торговку...

— Надо,—согласился Иван и захохотал.

Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала:

— Щи, лапша горячая!

И, незаметно вынимая книги, пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги исчезали из её рук, перед нею вспыхивало жёлтым пятном, точно огонь спички в тёмной комнате, лицо жандармского офицера, и она мысленно со злорадным чувством говорила ему:

— На-ко тебе, батюшка...

Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворённо:

— На-ко...

Подходили рабочие с чашками в руках; когда они были близко, Иван Гусев начинал громко хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу, а Гусевы шутили над ней:

— Ловко действует Ниловна!

— Нужда заставит мышей ловить!—угрюмо заметил какой-то кочегар.—Кормильца-то—оторвали. Стой-ка! Ну-ка, на, три копейки лапши. Ничего, мать! Перебьёшься.

— Спасибо на добром слове!—улыбнулась она ему.

Он, уходя в сторону, ворчал:

— Не дорого мне стоит доброе-то слово...

Власова покрикивала:

— Горячее—щи, лапша, похлёбка...

И думала о том, как расскажет сыну свой первый опыт, а перед нею всё стояло жёлтое лицо офицера, недоумевающее и злое. На нём растерянно шевелились чёрные усы, и из-под верхней, раздражённо вздёрнутой губы блестела белая кость крепко сжатых зубов. В груди её птицею пела радость, брови лукаво вздрагивали, и она, ловко делая своё дело, приговаривала про себя:

— А вот—ещё!..

XXIX

На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановясь, мать оглянулась: близко от неё на углу стоял извозчик в мохнатой шапке, далеко шёл какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи, а впереди него припрыжку бежал солдат, потирая уши.

«Должно быть, в лавочку послали солдатика!»—подумала она и пошла, с удовольствием слушая, как молодо и звучно скрипит снег под её ногами. На вокзал она пришла рано, ещё не был готов её поезд, но в грязном, закопчённом дымом зале

третьего класса уже собралось много народа—холод согнал сюда путейских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одетые, бездомные люди. Были и пассажиры, несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, рябой девицей, человек пять солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь, дверь, дрожали и звенели стёкла, когда её с шумом захлопывали. Запах табаку и солёной рыбы густо бил в нос.

Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь—на неё налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полною грудью. Входили люди с узлами в руках—тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов, отирали его с бороды, усов, крякали.

Вошёл молодой человек с жёлтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошёл прямо к матери.

— В Москву?—негромко спросил он.

— Да. К Тане.

— Вот!

Он поставил чемодан около неё на лавку, быстро вынул папиросу, закурил её и, приподняв шапку, молча ушёл к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью, ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был не велик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею.

Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил, взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знакомое в нём, она оглянулась и увидала, что он одним светлым глазом смотрит на неё из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол её, рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула и ноша вдруг отяжелела.

«Я где-то видела его!»—подумала она, замшая этой думе неприятное и мутное ощущение в груди, не давая другим словам определить чувство, тихонько, но властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло и поднималось к горлу, наполняя рот сухой горечью, ей нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть ещё раз. Она сделала это—человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте, казалось, он что-то хочет и не решается. Правая рука у него была засунута между пуговиц пальто, другую он держал в кармане, от этого правое плечо казалось выше левого.

Она, не торопясь, подошла к лавке и села, осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Память, разбуженная острым предчувствием беды, дважды поставила перед нею этого человека—один раз в поле, за городом, после побега Рыбина, другой—в суде. Там рядом с ним стоял тот сыщик-дочный, которому она ложно указала путь Рыбина. Её знали, за нею следили—это было ясно.

— Попалась?—спросила она себя. А в следующий миг ответила, вздрагивая:

— Может быть, ещё нет...

И тут же, сделав над собой усилие, строго сказала:

— Попалась!

Оглядывалась и ничего не видела, а мысли одна за другою искрами вспыхивали и гасли в её мозгу.

— Оставить чемодан,—уйти?

Но более ярко мелькнула другая искра:

— Сыновье слово бросить? В такие руки...

Она прижала к себе чемодан.

— А—с ним уйти?.. Бежать...

Эти мысли казались ей чужими, точно их кто-то извне насильно втыкал в неё. Они её жгли, ожоги их больно кололи мозг, хлестали по сердцу, как огненные нити. И, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя её прочь от самой себя, от Павла и всего, что уже срослось с её сердцем. Она чувствовала, что её настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает её, погружая в мёртвый страх; на висках у неё сильно забились жилы, и корням волос стало тепло.

Тогда, одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло её всю, она погасила все эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, повелительно сказав себе:

— Стыдись!

Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, добавив:

— Не позорь сына-то! Никто не боится.

Глаза её встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили всё в ней. Сердце забилось спокойнее.

— Что ж теперь будет?—думала она, наблюдая.

Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на неё глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошёл другой сторож, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошёл к лавке, где сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то.

Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо её. Она подвинулась в глубь скамьи.

— Только бы не били...

Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко сурово спросил:

— Что глядишь?

— Ничего.

— То-то,—воровка! Старая уж, а—туда же!

Ей показалось, что его слова ударили её по лицу, раз и два; злые, хриплые, они делали больно, как будто рвали щёки, выхлёстывали глаза...

— Я? Я не воровка, врёшь!—крикнула она всею грудью, и всё перед нею закружилось в вихре её возмущения, опьяняя сердце горечью обиды. Она рванула чемодан, и он открылся.

— Гляди! Глядите все!—кричала она, вставая, взмахнув над головою пачкой выхваченных прокламаций. Сквозь шум в ушах, она слышала восклицания сбегавшихся людей и видела—бежали быстро, все, отовсюду.

— Что такое?

— Вот, сыщик...

— Что это?

— Украла, говорят...

— Почтенная такая,—ай-ай-ай!

— Я не воровка!—говорила мать полным голосом, немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на неё со всех сторон.

— Вчера судили политических, там был мой сын—Власов, он сказал речь—вот она! Я везу её людям, чтобы они читали, думали о правде...

Кто-то осторожно потянул бумаги из её рук, она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу.

— За это тоже не похвалят!—воскликнул чей-то пугливый голос.

Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи, в карманы,—это снова крепко поставило её на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как в ней растёт разбуженная гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо в чьи-то быстрые, жадные руки.

— За что судили сына моего и всех, кто с ним—вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам её—вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда эта... никто не может спорить с нею, никто!

Толпа замолчала и росла, становясь всё более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.

— Бедность, голод и болезни, вот что даёт людям их работа. Всё против нас—мы издыхаем всю нашу жизнь день за днём в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие, и держат нас, как собак на цепи—в невежестве—мы ничего не знаем, и в страхе—мы всего боимся! Ночь—наша жизнь, тёмная ночь!

— Так!—глухо раздалось в ответ.

— Заткни глотку ей!

Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пачки, но когда рука её опустилась в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку.

— Берите, берите!—сказала она, наклоняясь.

— Разойдись! — кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своею массою, мешали им, быть может, не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице, и разобщённые жизнью, оторванные друг от друга, теперь они сливались в нечто целое, согретые огнём слова, которого, быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обиженные несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча, мать видела их жадно внимательные глаза и чувствовала на своём лице тёплое дыхание.

— Уходи, старуха!

— Сейчас возьмут!..

— Ах, дерзкая!

— Прочь! Разойдись!—всё ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга.

Ей казалось, что все готовы понять её, поверить ей, и она хотела, торопилась сказать людям всё, что знала, все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины её сердца и слагались в песню, но она с обидою чувствовала, что ей нехватает голоса, хрипит он, вздрагивает, рвётся.

— Слово сына моего—чистое слово рабочего человека, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по смелости!

Чьи-то юные глаза смотрели в лицо её с восторгом и со страхом.

Её толкнули в грудь, она покачнулась и села на лавку. Над головами людей мелькали руки жандармов, они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их. Всё почернело, закачалось в глазах матери, но, превозмогая свою усталость, она ещё кричала остатками голоса:

— Собирай, народ, силы свои во единую силу!

Жандарм большой красной рукой схватил её за ворот, встряхнул.

— Молчи!

Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду едким дымом страха и гнева ярко вспыхнуло, рассеяв дым.

— Иди!—сказал жандарм.

— Не бойтесь ничего! Нет муки, горше той, которой вы всю жизнь дышите...

— Молчать, говорю! —Жандарм взял под руку её, дёрнул. Другой схватил другую руку и, крупно шагая, они повели мать.

— Которая каждый день гложет сердце, сушит грудь!

Шпион забежал вперёд и, грозя ей в лицо кулаком, визгливо крикнул:

— Молчать, ты, сволочь!

Глаза у неё расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула:

— Душу воскресшую—не убьют!

— Собака!

Шпион ударил её в лицо коротким взмахом руки.

— Так её, стерву старую!—раздался злорадный крик.

Что-то чёрное и красное на миг ослепило глаза матери, солёный вкус крови наполнил рот.

Дробный, яркий взрыв криков оживил её.

— Не смей бить!

— Ребята!

— Ах ты, мерзавец!

— Дай ему!

— Не зальют кровью разума!

Её толкали в шею, спину, били по плечам, по голове, всё закружилось, завертелось тёмным вихрем в криках, все, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило, пол проваливался под её ногами, колебался, ноги гнулись, тело издрогнуло в ожогах боли, отяжелело и качалось, бессильное. Но глаза её не угасали и видели много других глаз—они горели знакомым ей смелым, острым огнём—родным её сердцу огнём.

Её толкали в двери.

Она вырвала руку, схватилась за косяк.

— Морями крови не угасят правды...

Ударили по руке.

— Только злобы накопите, безумные! На вас она падёт!
Жандарм схватил её за горло и стал душить.
Она хрипела.
— Несчастные...
Кто-то ответил ей громким рыданием.

1907 г.

МИТЯ ПАВЛОВ

Где-то в Ельце умер от тифа Митя Павлов, земляк мой, рабочий из Сормова.

В 905 году, во дни Московского восстания, он привёз из Петербурга большую коробку капсюлей гремучей ртути и пятнадцать аршин бикфордова шнура, обмотав его вокруг груди. От пота шнур разбух или слишком туго был обмотан вокруг рёбер, но—войдя в комнату ко мне, Митя свалился на пол, лицо его посинело, глаза выкатились, как это бывает у людей, умирающих от асфиксии.

— Вы с ума сошли, Митя! Ведь вы могли дорогой упасть в обморок—понимаете, что тогда было бы с вами?

Задыхаясь, он ответил виновато:

— Пропал бы шнур и капсюли тоже...

М. М. Тихвинский, растирая грудь его, тоже ворчливо ругался, а Митя, щурясь, спрашивал:

— Сколько будет бомб? Разобьют нас? Пресня держится?

Потом, лёжа на диване, указав глазами на Тихвинского, который рассматривал капсюли, спросил шопотом:

— Это он здесь бомбы делает? Профессор? Из рабочих? Да—ну-у?

И вдруг беспокойно осведомился:

— А не взорвёт он вас?

О себе же, о той опасности, которую он только что чудом избежал—ни слова.

1923 г.

Ему приятно было видеть задумчивость на бородатом лице студента, когда Кутузов слушал музыку, приятна была сожалеющая улыбка, грустный взгляд в одну точку, куда-то сквозь людей, сквозь стену. Дмитрий рассказал, что Кутузов, сын небогатого и разорившегося деревенского мельника, был сельским учителем два года, за это время подготовился в Казанский университет, откуда его, через год, удалили за участие в студенческих волнениях, но ещё через год, при помощи отца Елизаветы Спивак, уездного предводителя дворянства, ему снова удалось поступить в университет...

Среди всех людей, встреченных Климом, сын мельника гызывал у него впечатление существа, совершенно исключительного по своей законченности. Самгин не замечал в нём ничего лишнего, придуманного, ничего, что позволило бы думать: этот человек не таков, каким он кажется. Его грубоватая речь, тяжёлые жесты, снисходительные и добродушные улыбочки в бороду, красивый голос,—всё было слажено прочно и всё необходимо, как необходимы машине её части. Клим даже вспомнил строчку стихов молодого, но уже весьма известного поэта:

«Есть красота в локомотиве»

...Клим огорчённо чувствовал, что Кутузов слишком легко расшатывает его уверенность в себе, что этот человек насилует его, заставляя соглашаться с выводами, против которых он, Клим Самгин, мог бы возразить только словами:

— Не хочу.

Но у него нехватало смелости сказать эти слова.

Жизнь Клима Самгина, ч. I, 1927 г

...Кутузов, улыбаясь, пересел на стул против Клима и спросил очень дружески:

— Так вы находите, что революционеров—мало? А—где вы их видели, каких?

С необычной для себя словоохотливостью, подчиняясь неясному желанию узнать что-то важное, Самгин быстро рассказал

о проповеднике с тремя пальцами, о Лютове, Дьяконе, Прейсе.

— Дьякон—Ипатьевский— Сердюков? Сын есть у него? Помер? Ага. А отец тоже... интересуется? Редкий случай. Значит, всё с народниками путаетесь.

Не путаюсь, а—изучаю,—сказал Клим, уже раскаиваясь в словоохотливости своей.

- Жития маленьких протопопов Аввакумов изучаете? Бросьте. Всё это—не туда. Не туда,—повторил он, вставая и потягиваясь; Самгин исподлобья снизу вверх смотрел на его широкую грудь и думал:

— Возмутительно самоуверен.

— Особенности национального духа, община, свирели, солёные грибы, паюсная икра, блины, самовар, вся поэзия деревни и графское учение о мужицкой простоте, всё это, Самгин, простофильство,—говорил Кутузов, глядя в окно через голову Клима.— Не отрицаю, и в этой плесени есть своя красота, но пора проститься с нею, если мы хотим жить. И с героями на час тоже надобно проститься, потому что необходим героизм на всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции. Если вы на такой героизм не способны,—отойдите в сторону.

Он закурил папиросу, сел рядом с Климом так близко, что касался его плеча плечом.

— В одном народники правы,—продолжал он потише и раздумчивее,—рабочий народ у нас—хорош, цепкого ума народ, поучий отсюда у него и пристрастие ко всяческой элоквенции. Так что, когда народник говорит о любви к народу,—я народника понимаю. Но любить-то надобно без жалости, жалость—это имитация любви, Самгин. Это—дряпная штука.

Жизнь Клима Самгина, ч. 2, 1928 г.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Ленин в политике велик, но в то же время он реальный, земной, простой человек.

И мне хочется сказать несколько слов о другом Ленине, которого я лично знаю, сказать о человеке, таком простом человеке, как все вы, как я.

В 1907 году, когда я приехал в сырой город Лондон немного больным на съезд партии, Владимир Ильич приехал ко мне в гостиницу щупать, не сыр ли матрац, боясь, чтобы я сильнее не простудился. Вот какого Ленина я знаю, для многих совершенно неожиданного человека...

Я знаю Ленина, когда он играл в «тётку», любил игру и хохотал так, как умеет только он один. В эти моменты не было у него ничего такого, чему мог бы удивляться весь мир. Ничего. Такой он простой, такой милый, такой душевный, обычный, простой русский человек, как каждый из вас. И вдруг мы видим такую фигуру, глядя на которую, уверяю вас, хотя я и не трусливого десятка, но мне становится жутко. Делается страшно от вида этого великого человека, который на нашей планете вертит рычагом истории...

И этот переход от простого, милого, душевного, смеющегося великолепным смехом, к этой громадной фигуре, значение которой трудно объять,—прямо-таки чудесен.

Вот, что я хотел сообщить об Ильиче, о человеке, перед которым я внутренно преклоняюсь и которому на долгие времена желаю доброго здоровья, той неистощимой энергии, ко-

торой он обладает, и всего, всего хорошего, что только может быть на свете.

Я видел крупных людей, знал Толстого и ещё кое-каких, но эта колоссальная фигура заслоняет их...

И на ваше счастье, на счастье всей страны существует этот человек. Очень надо ценить его, очень надо любить, очень надо помочь ему в его великой, в его всемирной, в его планетарной работе. Да, в лице его русская история создала почти чудесное.

Поймите, этот человек лично ни в чём не нуждается, но, как историческое нечто, он нуждается в мужественном, упрямом, напряжённом вашем труде, нуждается в хорошей вашей человеческой к нему любви.

И лучшее, чем можем почтить его огромную работу, и лучшее, чем вы поблагодарите его за всё, что он сделал не только для России, но и для всего человечества,—это честный труд, это напряжённый труд, это любовь к труду, это та духовная бодрость, которую я вам всем от всей души моей желаю... Вот, товарищи, те несколько слов, которые хотел я вам сказать.

Речь на вечере в честь 50-летия со дня рождения В. И. Ленина. 1920 г.

Иногда дерзость воображения, обязательная для литератора, ставит передо мною вопрос:

— Как видит Ленин новый мир?

И передо мной развёртывается грандиозная картина земли, изящно огранённой трудом свободного человечества в гигантский изумруд. Все люди разумны, и каждому свойственно чувство личной ответственности за всё, творящееся им и вокруг него. Повсюду города-сады—вместилища величественных зданий, везде работают на человека покорённые и организованные его разумом силы природы, а сам он—наконец!—действительный властелин стихий! Его физическая энергия не тратится больше на грубый, грязный труд, она переродилась в духовную, и вся мощь её направлена к исследованию тех основных вопросов бы-

тия, над решением которых безуспешно бьётся мысль, расшатанная, раздробленная необходимыми усилиями объяснения и оправдания явлений социальной борьбы, измученная неизбежной в мире этих явлений драмой признания двух непримиримых начал.

Облагороженный технически, осмысленный социально, труд стал наслаждением человека. Действительно освобождён, наконец, разум человека—самое драгоценное начало в мире—и, действительно, разум стал бесстрашен.

Бесстрашие разума и острая проницательность в области политики—основные свойства натуры Ленина.

Владимир Ильич Ленин. 1920 г.

Владимир Ильич Ленин так хорошо знал историю прошлого, что мог и умел смотреть на настоящее из будущего. Это не выдумано мною «для красного словца», это утверждается всей работой его, всеми статьями, особенно после Октября. Неизбежность и близость Октябрьской победы рабочих и крестьян он предвидел уже в 907 г. на Лондонском съезде. Он вообще, как никто до него, умел предвидеть то, что должно быть. Он умел и мог делать это, мне кажется, потому, что половиною великой души своей жил в будущем, железная, но гибкая логика его показывала ему отдалённое будущее в формах совершенно конкретных, реальных. Этим, на мой взгляд, и объясняется его изумительная стойкость в отношении к действительности, которая никогда не смущала его—как бы она ни была трудна и сложна...

Владимир Ленин был верующим человеком, он непоколебимо верил, потому что хорошо знал. Его силою была поражающая нас ясность его разума. Обширнейшие знания, которыми он насытил свой разум, вооружили его способностью пророчески видеть всё, что может и должно дать сегодня завтрашнему дню. Сегодняшняя действительность была для него только материалом для построения будущего и, повторяю, никогда ничем не пугала его. Он видел, чувствовал вокруг себя тысячи творцов новой истории,—передовые отряды рабочего класса, воспитан-

ные его мыслью, его верой и способные вести за собою всю рабочую массу, способные вырвать из земли корнями вросшее в неё бедняцкое крестьянство, поставить его на широкий свободный путь к социалистической культуре. До Владимира Ленина трудовой народ ни в одной стране мира не имел вождя.

О задачах индустриализации. 1928 г.

В. И. ЛЕНИН

(Отрывки)

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность»...

Был он прост и прям, как всё, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишён внешнего блеска, его героизм—это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убеждённого в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжёлой работы для счастья людей...

Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною превосходно освещённый сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас, вот, всё ещё хорошо вижу голые стены, смешной своим убожеством, деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри её—полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а—у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать,

... особенно гостеприимные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы, ведь, драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то нехватало в нём. Картавит и руки сунул куда-то подмышки, стоит фертом. И вообще, весь как-то слишком прост, не чувствуется в нём ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомлённый своими обязанностями учитель ещё на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дёргая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал её в рукописи, взятой у Н. Е. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкно-

вённым смехом; смех его привлёк рабочих, подошёл, кажется, Фома Уральский и ещё человека три.

Я был настроен очень праздично, я находился в среде трёх сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное моё настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие моё сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером, и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпилены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Всё вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

— Мальцейт.

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит—плохо, немецкое «цейт»—время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво, вино было кислое и тёплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с. д. говорили тоже кисловато и снисходительно, а о своей, немецкой партии—очень хорошо! Вообще— всё было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей...

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования...

И—вдруг, точно в сказке, я на Съезде Российской социал-демократической партии. Конечно—праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров,—это я знал с 903 г.,—а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку»...

Но вот поспешно взошёл на кафедру Владимир Ильич, картаво произнёс «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощён» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперёд и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса итти своим путём, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией,—всё это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно, по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре,—точно произведение классического искусства: всё есть и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были—их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счёту времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению—значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развёртывался сам собою, силою, заключённой в нём.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он—более, чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту

революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

- Съезд не место для философии!

— Не учите нас, мы—не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— З-загово-орчики... в з-заговорчики играете! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже—лежите на нём.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру В. Ильича. Незаметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди её. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придаёт В. Ильичу всё новые и новые силы, делает его бодрее, увереннее, с каждым днём речи его звучат всё более твёрдо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже...

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выспрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

- Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Всё-таки—учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек,—Бебель, или ещё кто. А вот, чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого—не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот—наш!

Ему возразили:

— И Плеханов—наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов—наш учитель, наш барин, а Ленин—вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чём-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чём же, всё-таки, истинная причина разногласий? Да, вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется—понял...

Обедали небольшой компанией, всегда в одном и том же маленьком, дешёвом ресторане. Я заметил, что В. Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трёх яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, тёмного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведывала М. Ф. Андреева, и он спрашивал её:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А, может, увеличить бутерброды?

Пришёл в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю,—не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать—какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив моё недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18-го года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это, как хорошо продуманное, давно решённое.

Известно, что строже всех судят человека его служащие.

Но шофёр Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

— Ленин—особенный. Таких—нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь—изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я—старый шофёр, я знаю—так никто не сделает...

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нём некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и не мало других крупных русских людей, каким-то чутьём сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех—«задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джованни Спадаро, сказал о нём:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца»—лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повёл её и закричал с восторгом ребёнка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже как дети радостно захохотали и прозвали рыбака:

«Синьор Дринь-Дринь».

Он уехал, а они всё спрашивали:

— Как живёт Дринь-Дринь? Царь не схватит его, нет?..

Меня восхищала ярко-выраженная в нём воля к жизни и активная ненависть к мерзости её, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал всё, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его ещё более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горок,—до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, чёткие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно-выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в своё призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира,—роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскалённым солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне,

завистливо вздыхал:—А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и—почти всё!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слёз. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он не редко принимал странную и немножко комическую позу—закинет голову назад и, наклонив её к плечу, сунет пальцы рук куда-то подмышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он, в такую минуту, светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти, ради осуществления дела любви...

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей революционной интеллигенции,—самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до Рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева:

«Люди живут плохо—значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжёлом, голодном 19-ом году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копчёной рыбой угощу—прислали из Астрахани.

И, нахмурив Сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять—обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый

с утра до вечера сложной, тяжёлой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо—устал. Надо поддержать. Настроение—не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть,—обедал в Кремлёвской столовой.

— Я слышал—скверно готовят там.

— Не скверно, а—могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они там умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они,—тут нужен искусный повар.—И—процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен...

Как-то пришёл к нему и вижу: на столе лежит том «Войны и Мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да, вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать—совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матёрый человечище! Вот это, батенька, художник... И,—знаете, что ещё изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нём черту гордости русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно-чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко-скрытой, радостной любви к рабочему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своём великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Apassionata», готов слушать её каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту.

А сегодня гладить по головке никого нельзя—руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм,—должность адски трудная!..

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну,—издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу её — исключительную талантливость народа, ещё слабо выраженную, не возбуждённую историей, тяжёлой и нудной, но талантливость всюду, на тёмном фоне фантастической русской жизни, блестящую золотыми звёздами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего—умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но чёрная черта смерти только ещё резче подчеркнёт в глазах всего мира его значение—значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была ещё более густа—всё равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его—живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

1924—1930 гг.

СТРАНА СОВЕТОВ И ЕЁ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ

У советской власти нет других интересов, кроме интересов трудового народа. Это единственная в мире действительно народная власть, и она действительно стремится создать для трудящихся более лёгкие условия жизни, создать справедливое, социалистическое государство.

О займе индустриализации. 1928 г.

Впервые за всю историю человечества рабочие и крестьяне России, завоевав власть над своей страной, завоевали себе право изменять действительность сообразно своим интересам, право строить государство на основе экономического равенства,—государство, в котором не должно быть бездельников, лентяев, паразитов, хищников и проповедников морали, угнетающей человека.

Власть, установленная трудовым народом Союза Советов,—есть подлинная власть рабочих и крестьян: у этой власти нет личных интересов, она—действительно орган воли трудового народа и воплощение его разума.

О «маленьких» людях и великой их работе. 1929 г.

Время для нас дорого, нельзя терять даром ни единой минуты: задачи, которые мы обязаны решить,—огромны; ни-

когда ещё, никто, ни один народ в мире не пытался поставить перед собой такие трудные цели и задачи, которые поставил и разрешает рабочий класс Союза Социалистических Советов.

Нам нужно в кратчайший срок уничтожить всю старину и создать совершенно новые условия жизни,—условия, каких нигде нет. Мы должны вооружить наше многомиллионное крестьянство машинами, облегчить его каторжный труд, сделать землю более плодородной, научить бороться с засухами и другими капризами природы, которые уничтожают посевы на полях; создать миллионы километров хороших дорог, уничтожить тесные грязные деревни, построить для работников полей хорошие города со школами, театрами, общественными банями, больницами, клубами, хлебопекарнями, прачечными,—вообще со всем тем, чем богаты города и что издавна создавало различие между обычаями, привычками, бытовыми особенностями—«душевным строем»—людей города и деревни. Это вредное различие, навязанное нам прошлой историей, мы должны уничтожить с корнем. Мы должны воспитать сами себя качественно иными: выкорчевать из наших душ всю проклятую «старинку», воспитать в себе больше доверия к всепобеждающей силе разумного труда и техники, должны стать бескорыстными людьми, научиться думать обо всём социалистически, ставить мелкие, личные наши интересы ниже великих задач, решения которых требует от нас работа строительства первого в мире государства, где не будет деления людей на классы, не будет богатых и бедных, хозяев и рабочих, исчезнет главная причина всех бедствий и страданий людей—исчезнет стремление к личной собственности, основе зависти, жадности, глупости. Мы строим государство, в котором каждый будет работать по способностям и получать по потребностям, каждый будет чувствовать себя владыкой всех сокровищ его страны и перед каждым человеком будут широко открыты пути к свободному развитию всех его способностей.

Рабочим Магнитостроя и др.
1931 г.

Преемник Ленина, Иосиф Сталин, мощный вождь, чья энергия всё возрастает, и верные ученики Ленина успешно продолжают его великую, революционную работу.

«Работнице и крестьянке» 1933 г.

...Нам (каждому из нас) принадлежит богатейшая страна мира, разнообразная по её природным условиям, по обилию ископаемых сокровищ, по разнообразию и талантливости её населения. Талантливость эта не является выдумкой для самоутешения,— она реальный факт, утверждаемый ежедневно молодой нашей наукой и техникой, нашим искусством. А наиболее крепко утверждается наша даровитость, разбуженная революцией, зачатым у нас опытом исследования склонностей и способностей детей младшего и среднего возраста. Опыт этот, например, в Ленинграде, дал разительные доказательства даровитости детей. Мы всего только шестнадцать лет свободно работаем в этой «стране безграничных возможностей» и за этот ничтожный срок сделали её не только технически мощной, но духовным отечеством революционного пролетариата всех стран. Вместе с этим мы сделали нашу страну вполне обороноспособной. Нам есть что защищать.

Краткий очерк сверной истории. 1934 г.

Мы выступаем в стране, освещённой гением Владимира Ильича Ленина, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина.

Речь на открытии первого всесоюзного съезда советских писателей. 1934 г.

...Непрерывно и всё быстрее растёт в мире значение Иосифа Сталина, человека, который, наиболее глубоко освоив энергию и смелость учителя и товарища своего, вот уже десять лет достойно замещает его на труднейшем посту вождя партии. Он глубже всех других понял: подлинно и непоколебимо революционно-творческой может быть только истинно и чисто

пролетарская, прямолинейная энергия, обнаруженная и воспламенённая Лениным. Отлично организованная воля, проницательный ум великого теоретика, смелость талантливого хозяина, интуиция подлинного революционера, который умеет тонко разобраться в сложных качествах людей и, воспитывая лучшие из этих качеств, беспощадно бороться против тех, которые мешают первым развиться до предельной высоты,—поставили его на место Ленина.

Правда социализма. 1934 г.

Радостно жить и бороться в стране, где великая мудрость партии и железная воля её вождя Иосифа Сталина навсегда освобождает человека от проклятых навыков и предрассудков прошлого.

[*Приветствие Большевской коммуне*]. *1935 г.*

... Миллионы людей вовлекаются в процессы строительства чудовищных сооружений, изменяющих лицо страны, в производство невиданных машин, аппаратов, орудий труда, предметов быта, где люди создают новые соотношения различных видов материи и действительно изменяют мир, а не только физически изменяют формы материи, вдвигая её упрямые тяжести в круг своих интересов, всё более широкий. В этом мире, уже частично изменённом энергией человека, эта энергия становится всё более коллективной силой, играет роль всё более своеправного катализатора элементов и энергии материи. Материя торжествует, решительно заявляя о себе как о матери всех явлений мира, о матери, оплодотворяемой не духом, а самооплодотворяющейся той тончайшей и могучей энергией, которую она создала, вместилищем которой является человек; недавний её пленный и раб, ныне он становится владыкой всего сущего. Так, мне кажется, надо понимать исторический процесс, предуказанный Марксом и Энгельсом, освещённый и углублённый Лениным и всё более углубляемый и расширяемый неутомимой работой Сталина, вождя партии, воспитывающей вождей пролетариата.

Литературные забавы. 1935 г.

Всё, что создано в Союзе Социалистических Советских Республик,—создано в срок менее двух десятков лет, и это всего красноречивее говорит о даровитости народов Союза, о их трудовом героизме, о том, что в нашей стране труд становится искусством, о том, что пролетариат Советских Социалистических Республик, руководимый учением и партией Ленина и неиссякаемой, всё растущей энергией Иосифа Сталина, создаёт новую культуру, новую историю трудового человечества. .

О культурах. 1935 г.

В то время, как фашистские страны—Италия, Германия,—растрачивая силы своего трудового народа на подготовку новой всемирной, истребительной войны, низводят народ свой к нищете и голоду—народ страны Союза Советских Социалистических Республик быстро богатеет на зависть грабителям. Никогда, за всю историю человечества, никогда и нигде «единство власти и народа» не существовало в таких ярко выраженных и крепких формах, в каких это единство установлено у нас, в Союзе, где каждый честный рабочий и колхозник имеет возможность непосредственного и тесного товарищеского общения с его вождями. И никогда в мире, ни один из прославленных историей «вождей народа» не говорил—не смел, не мог сказать рабочей силе: «мы учили вас и, в свою очередь, учимся у вас». Иосиф Сталин сказал это, и это—огромная, небывалая, подлинно революционная правда. Вот эта правда и является той силой, которая создаёт такие удивительные взрывы, каково творческое движение, носящее имя Стаханова.

История деревни. [*1934 г.*]

Любите вашу вторую мать—могучую социалистическую нашу родину...

[*Приветствие Большевской коммуне*].
1935 г.

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ

Я—человек жадный на людей и, разумеется, по приезде на Русь работать не стану, а буду ходить, смотреть и говорить. И поехал бы во все места, которые знаю; на Волгу, на Кавказ, на Украину, в Крым, на Оку и по всем бывшим ямам и ухабам. Каждый раз,—а это каждый день!—получив письмо от какого-нибудь молодого человека, начинающего что-то понимать, чувствуешь ожог, хочется к человеку этому бегом бежать. Какие интересные люди и как всё у них кипит и горит! Славно.

Письмо к П. Керженцеву
[до 1928 г.]

Мне хочется написать книгу о новой России. Я уже накопил для неё много интереснейшего материала. Мне необходимо побывать—невидимкой—на фабриках, в клубах, в деревнях, в пивных, на стройках, у комсомольцев, у вузовцев, в школах на уроках, в колониях для социально-опасных детей, у рабкоров и селькоров, посмотреть на женщин-делегаток, на мусульманок и т. д. и т. д. Это—серьёзнейшее дело. Когда я об этом думаю, у меня волосы шевелятся на голове, шевелятся от волнения.

Очень трогательные и удивительно интересные письма пишут мне разные маленькие строители новой жизни из глухих углов страны.

Письмо в Госиздат. 1927 г.

[ДНЕПРОСТРОЙ]

На Днепрострое воля и разум трудового народа изменяют фигуру и лицо земли. Десятки и сотни рабочих, просверливая камень берегов Днепра электрическими свёрлами, взрывают древнюю породу жидким воздухом, другие десятки переносят, перевозят с места на место сотни тысяч кубометров земли, землю выкусывают железные челюсти экскаваторов, она кажется лёгким прахом под руками коллективного человека, который строит для себя новую жизнь. Когда видишь, как смело и просто обращается с нею обыкновенный рабочий, маленький человечек, как покорно подчиняется она его разумной силе,—детски наивной кажется древняя сказка о Святогоре-богатыре, который не мог одолеть «тяги земной». Эта сказка весьма устрашала безнадёжной своей мистикой любителей пофилософствовать о таинственных силах природы и слабости человека перед ними. Устрашались, чтоб успокоиться.

Стиснутый с обоих берегов железными плотинами, бушует Днепр, но сердитый плеск его волн о железо и камень не слышен в скрежете свёрл, в ударах молотов по гулкому железу, в криках рабочих, в этом мощном звуковом «сырье». Мне кажется, что люди скоро уже разложат это разнозвучное сырьё на ноты, гармонизируют его, создадут героические симфонии.

Стальные жала свёрл впиваются в камень, наполняя воздух странно сухим шумом, издали этот шум звучит точно одновременное пение множества басовых струн виолончели. Гулко и строго ритмически падают удары американского крана, забивая «шпунт». Невольно вспоминаешь слова Александра Блока: «Культура есть музыкальный ритм». «Дух музыки соединился отныне с новым движением, идущим на смену старого».

Здесь, любуясь дерзкой работой людей, всё время вспоминаешь прошлое, и это очень помогает правильной оценке настоящего.

Среди скал, разодранных взрывами, коренастый парень, густо напудренный пылью, сверлит камень, действуя силою, от которой руки и плечи его непрерывно дрожат крупной дрожью. Когда я взялся за ручки сверла, меня встряхнуло, как малень-

кого ребёнка, встряхнуло не только потому, что я коснулся молниеносной силы, но и потому, что силою этой владеет девятнадцатилетний крестьянин Смоленской губернии, человек, пред которым, вероятно, полстолетия интереснейшей жизни и работы. Я, конечно, завидую ему, но и рад за него. Эта радость естественна: измеряя время не только годами моей личной жизни, я не могу забыть, что жизнь моя началась при огне лучины и сальной свечи. А так же я хорошо помню, что в 96 г., когда по улицам Н.-Новгорода пошёл первый вагон трамвая, такие парни, как этот, тоже смоленские землекопы,—стремглав разбежались прочь от «чортовой кареты».

Дать общую картину всей работы на «Днепрострое» я не в силах. Я прожил там трое суток, слишком мало для того, чтоб достаточно ярко нарисовать картину грандиозного труда. Там очень много такого, что я видел впервые за мою жизнь, и уже слишком много стёрто, уничтожено того, что я видел сорок лет тому назад. Тогда я ночевал тут на берегу Днепра против острова Хортицы, на тёплых камнях. Вечером долго беседовал с меноннтом, на которого мне указали, как на человека великой мудрости.

— «Много вас таких шляется по земле»,—сказал мне этот мудрец, и это было самое верное из всего, что говорил он, маленький, сухонький, заласканный людьми до усталости и даже, как будто, до презрения к ним.

Думаю, что в то время ещё не был изобретён умный и послушный американский кран, которым теперь забивают железные «шпунты» в каменное дно бешеного Днепра. Тогда в порту Феодосии били сваи «в ручную», с копра. Тогда не существовал экскаватор, железные пригоршни которого черпают землю и мелкий камень легко, точно воду. Машина эта роет шлюз; ею удивительно ловко управляет чёрный, масляный человек, вот этот—действительно мудр. Из глубокого котлована огромные насосы выкачивают воду, круглые пасти труб переливают её в Днепр. Когда смотришь на толстые струи воды, кажется, что не из реки, а из земли вытягивают её жилы. Сотни людей сдирают с земли толстую каменную кожу и видишь эту бесплодную землю поистине в руках людей.

День на Днепрострое начинается взрывами, они же и заканчивают день. У меня недурная зрительная память, и мне странно видеть, как значительно, за несколько часов работы, изменились контуры берегов. И странно знать, что камень взрывают жидким воздухом, это не только странно, а и очень весело...

Тёплый бархат ночи богато расшит, украшен голубым серебром огней, в сумраке стремительно катятся волны Днепра, река точно хочет излиться в море раньше, чем люди возьмут её в плен и заставят работать на себя. Всё вокруг сказочно. Сказочен голубой огонь, рождённый силою падения воды. И сказочен этот крепкий человек рядом со мною, человек, который изменяет лицо земли, такой внешне спокойный, но крепко уверенный в непобедимой силе знания и труда...

Есть поэзия «слияния с природой», погружения в её краски и линии, это—поэзия пассивного подчинения данному зрением и умозрением. Она приятна, умиротворяет, и только в этом её сомнительная ценность. Она—для покорных зрителей жизни, которые живут в стороне от неё, где-то на берегах потока истории.

Но есть поэзия преодоления сил природы силою воли человека, поэзия обогащения жизни разумом и воображением, она величественна и трагична; она возбуждает волю к деянию, это—поэзия борцов против мёртвой, окаменевшей действительности, для создателей новых форм социальной жизни, новых идей.

По Союзу Советов. 1929 г.

[БАКУ]

В Баку я был дважды: в 1892 и в 1897 годах. Нефтяные промысла остались в памяти моей гениально сделанной картиной мрачного ада. Эта картина подавляла все знакомые мне фантастические выдумки устрашённого разума, все попытки проповедников терпения и кротости ужаснуть человека жизнью

с чертями, в котлах кипящей смолы, в неугасимом пламени адовом. Я не шучу. Впечатление было ошеломляющее.

На промысла Азнефти я поехал рано утром, прямо с вокзала...

Я оглядываюсь и, разумеется, ничего не узнаю,—сильно разрослись промысла, изумительно широко! Но ещё более изумляет тишина вокруг. Там, где я ожидал снова увидеть сотни выпачканных нефтью, ненормально возбуждённых людей,—люди встречаются редко и это, чаще всего, строительные рабочие,—каменщики, плотники, слесаря. Там и тут они возводят здания, похожие на бастионы крепостей, ставят железные колонны, строят леса, месят цемент. По необозримой площади промыслов ползают, позвякивая сцеплениями, железные тяжи; вышек стало значительно меньше, но повсюду качаются неуклюжие «богомолки», почти бесшумно высасывая нефть из глубин земли. В деревянном сарайчике кружится на плоскости групповой привод, протягивая во все стороны, точно паук, длинные, железные лапы. У двери сарая лежит на скамье и дремлет смазчик, старенький тюрк в синей куртке и таких же шароварах. Рабочих, облитых чёрным жиром, не видно нигде. И нет нигде жилищ доисторического вида, этих приземистых, грязных казарм, с выбитыми стёклами в окнах, нет полуголых детей, сердитых женщин, не слышно истерических криков и воя начальства, только лязгает, поскрипывает железо тяжей и кланяются земле «богомолки». Эта работа без людей сразу создаёт настроение уверенности, что в близком будущем люди научатся рационализировать свой труд во всех областях...

...Мы—на Биби-Эйбате, где люди отнимают у моря часть его площади, для того, чтоб освободить из-под воды нефтеносную землю. Каменная плотина отрезала у Каспия большой кусок, образовался тихий пруд, среди него дерзко возвышаются клетки буровых вышек, в клетках возится, поскрипывает железо, просверливая морское дно, мощные насосы выкачивают мутно-зеленоватую воду пруда в море, взволнованное деятельностью людей. В него непрерывно льются две сердито кипящие струи,

каждая толщиною в десятивершковое бревно. Под шум этих не очень «поэтических» струй мне рассказывают нечто легендарное об инженере, кажется, Потоцком, который совершенно ослеп, но так хорошо знает Биби-Эйбат, что безошибочно указывает по карте места работ и точки, откуда следует начать новые работы.

Стучит мотор, покрикивают рабочие, шипит вода. Вдали, за бухтой, на серой горе, тоже стоят новенькие буровые, от одной из них к морю, вниз, тянется чёрная бархатная полоса ценнейшего жира земли.

— Постепенно мы выкачаем море вон до той линии,—говорит заведующий промыслами, указывая вдаль, на что-то, чего я не вижу.—Вообще вся эта бухта нефтеносна и её надо...

Он делает широкий жест, как бы изгоняя всю массу воды из бухты в зелёную пустоту моря. Жест этот не кажется мне самонадеянным и фантастическим. Фантастики я видел уже немало на Днепрострое, в Москве и здесь, как всюду, её воплощают в железо, она превращается в мощную реальность, говорит о величии разума...

Дома посёлков построены одноэтажными, очевидно для того, чтобы люди наименьше страдали от свирепых ветров, которыми издревле славится район Баку. В каждом посёлке семьи тюрков живут о бок с русскими семьями, дети воспитываются вместе, и это возбуждает надежду, что через два десятка лет не будет ни тюрков, ни русских, а только люди, крепко объединённые идеей всемирного братства рабочих.

Да, что бы ни говорили враги Союза Советов, а его рабочий класс смело начал и хорошо продолжает «необходимейшее дело нашего века», как назвал Ромэн Роллан идею В. И. Ленина, воплощаемую в жизнь его учениками. Баку—неоспоримое и великолепное доказательство успешности процесса строения государства рабочих, создания новой культуры,—таково моё впечатление.

По Союзу Советов. 1929 г.

[ТБИЛИСИ]

Тифлис мало изменился с той поры, как я был в нём, но окраины его, Навтлуг, Дидубэ, сильно разрослись. Просторнее, чище стало на Авлабаре, который, в моё время, именовался «азнатской» частью города. Расширен и превосходно обстроен знаменитый сад Муштаид. Расширяют музей Кавказа, увеличивая его втрое. Я видел только отдел зоологии и должен сказать, что его организуют образцово по наглядности, по красоте. Залы разделены огромными стёклами, задние стены каждого отделения расписаны пейзажами неплохим художником, на фоне пейзажа умело размещены флора и фауна, и всё вместе даёт вполне точную картину условий, в которых живёт разнообразное и обильное кавказское зверьё. В музее—чучело того тигра, который года три или четыре тому назад пришёл откуда-то на Кавказ, вызвал немало страха и был убит, кажется, где-то под Тифлисом. Зверь весьма крупный, у него такие солидные лапы и клыки, но в стеклянных глазах есть что-то неумевающее и даже смешное, как будто он, в минуту смерти, подумал:

«Вот влопался!»

Как везде в Союзе Советов, в Тифлисе много строят. Оживлённо шумит милый грузинский народ—романтик, влюблённый в красоту своей страны, в её солнечное вино и чудесные песни...

Очень красиво построена мощная силовая станция Загэс с её монументом В. И. Ленину на скале среди Куры. Впервые человек в пиджаке, отлитый из бронзы, действительно монументален и заставляет забыть о классической традиции скульптуры. Художник очень удачно, на мой взгляд, воспроизвёл знакомый властный жест руки Ильича, жест, которым он, Ленин, указывает на бешеную силу течения Куры.

В Коджорах, на дачах тифлисских богачей, [illegible] ров, дома отдыха, детские дома. Детей там, вероятно, [illegible] тысячи. Коджоры цвели и сверкали знамёнами, [illegible] ров.

Там был, кажется, съезд учительниц, и часа три мы слушали великолепное исполнение ими народных песен Грузии. Особенно мастерски пели две девицы, одна—блондинка с огромными весёлыми глазами и прекрасным, неистощимым голосом, человек исключительно талантливый, так же как её подруга, тоже искусная и неутомимая певица. Трогательно было задушевное гостеприимство учительниц, их простота и милая их гордость волнующей красотой песен своего народа. Группы девушек и детей в саду, на пригорке, под ветвями старых деревьев, в сети солнечных лент напомнили мне лирическую красоту персидских миниатюр.

После этого—интереснейшая беседа с рабкорами в каком-то саду...

Природа не наградила меня способностями оратора, и каждый раз, читая стенограмму публичных моих речей, я со стыдом убеждаюсь в их бессвязности. А вот такие беседы, когда каждый спрашивает о чём хочет и говорит мне всё, что ему угодно,—эти беседы,—дело новое для меня, много дали мне, многому научили. Огромное и глубокое наслаждение наблюдать за игрою сотен разнообразных лиц, сотен пар разноречивых глаз, следить, как вспыхивает в них сочувствие или недоверие, дружеская улыбка или блеск насмешки, а иногда разгорается и огонёк вражды. Большая радость воочию убедиться в том, что люди заново живут, по-новому начинают думать и чувствовать. Убеждаешься в этом каждый раз, когда от живого искреннего слова вспыхивает яркий интерес и даёт тебе знать, что ты нужен, полезен.

По Союзу Советов. 1929 г.

[АРМЕНИЯ]

Дома в деревне солидные, деревянные, хотя земля вокруг безлесна, а горы почти сплошь из вулканических пород, и среди них—сказали мне—есть достаточно мягкие, удобные для строительства. В одном из домов—ихтиологическая станция, где изу-

чают жизнь населения озера. Производится интересный опыт: в синюю воду Гокчи пустили 15 миллионов малька сигов из Ладожского озера и уверенно ожидают, что сиги приспособятся к жизни в этом огромном бассейне на высоте почти 2000 метров. Да, всюду, на всех точках земли Союза Советов делаются смелые, великого значения опыты, строится новая жизнь. Эта стройка—первое, что бросается в глаза, когда подъезжаешь к Эривани.

Серый каменный город на фоне хмурой массы среброгланого Арарата, в шапке красноватых облаков,—этот город издали вызвал у меня впечатление заключённого в клетку строительных лесов, на которых муравьиные фигурки рабочих лепят новые здания как будто непосредственно из каменной массы библейской горы. Такое впечатление явилось потому, что стройка идёт на окраине города и его видишь сквозь леса...

...Отличная силовая станция украшает Эривань, силою её работает завод, очищающий хлопок, масляный и мыльный заводы, богато освещён город. Энергично идёт стройка жилищ для рабочих, два больших корпуса уже заселены, всюду чувствуется смелая рука умного хозяина и движение в городе носит характер движения накануне большого праздника.

Прекрасно организован музей, намечено множество работ, которые должны будут быстро преобразовать город, идут геологические исследования по всей стране. И уже сделано открытие, которое несомненно даст армянам значительные средства для развития промышленности и культуры страны: около Арарата найдены богатейшие залежи вулканического туфа. Из этого материала построен Неаполь и все города по берегам Неаполитанского залива, но туф Арарата плотнее везувианского, вбитый в него гвоздь не колет массу и в то же время она режется легко, почти как мыло. Из туфа можно, на месте разработки, резать колонны, наличники окон и дверей, консоли, карнизы, его можно резать по заданию архитектора на кубы любого объёма. Залежи его исчисляются сотнями миллионов тонн. Разработка этого богатства уже начата, прокладывается подъездной путь к Закавказской ж. д. Думают, что туф этот будет дешевле кирпича и хорошо пойдёт в Северо-Кавказский край и на

Украину, бедную строительным материалом. Вероятно, вулканическая почва Армении подарит народу своему и другие богатства. На обратном пути из Эривани в Тифлис мы видели выхода на поверхность земли чёрного обсидиана—вулканического стекла.

Вечером, после митинга, в городском саду эриванская молодёжь показывала танцы сассунских армян, нечто совершенно исключительное по оригинальности и красоте...

Танцы сассунских армян не поражают затейливостью и разнообразием фигур и не стремятся к этому, в них есть нечто другое, более значительное и глубокое. На эстраду выходят двое музыкантов в ярких национальных костюмах, двое—большой барабан и пронзительно крикливая дудка,—а за ними выплывает ослепительно блестящее, разноцветное тело—двадцать человек мужчин. Они идут плечо с плечом, держа за спинами руки друг друга, они—единое тело, движимое единой, изумительно ритмически действующей силой. Это тело свёртывается в круг, в спираль, развёртывается в прямую линию, строит разнообразные кривые; идеальность ритма, лёгкость и плавность построения фигур всё более укрепляют чарующую иллюзию единства, слитности. Отдельных танцоров трудно различить, видишь, как пред тобой колеблется ряд красивых лиц, видишь их улыбки, блеск глаз, кажется, что вот их стало больше, а в следующую минуту—меньше; индивидуальные черты каждого отдельного лица почти неуловимы и всё время с вами говорит, улыбается вам как будто одно лицо,—лицо фантастического существа, внутренняя жизнь которого невыразимо богата. Возбуждающе поёт дудка, но её высокий голос уже не кажется пронзительным; громко, но мягко отбивает такт барабан и за этой музыкой видишь другую—музыку изумительно красивых движений гибкого человеческого тела, его свободную игру в разноцветной волне ярких одежд. Минутами, когда стремительность движений многоглавого тела, возрастая, превращалась в золотой и радужный вихрь, я ждал, что цепь танцоров разорвётся на отдельные звенья, но и в этом вихре они сохранили единодушную плавность движений, увеличивая, углубляя впечатление силы и единства.

Никогда я не видел и не мог представить себе картину такой совершенной слитности, спаянности многих в едином действии. Несомненно в этом, должно быть очень древнем, танце скрыто нечто символическое, но мне не удалось узнать—что это: религиозная пляска жрецов или танец воинов. Мне кажется, есть в нём что-то общее с воинственным танцем гурийцев,—не помню, как называется он,—«перхули» или «хорули». Но в нём не было ничего, что хоть немного напоминало бы бешеное кружение хлыстов, которое я видел в нижегородском «корабле» Болотиной,—или истерические судороги вертящихся дервишей, от которых, как говорят, заразились истерией и наши сектанты — «кавказские прыгуны». Вероятно, танец сасунских армян — победный танец воинов.

Не менее оригинально и так же обаятельно красиво танцовали женщины, одетые тоже по-восточному ярко и цветисто. Танцуя, они показывали, как причёсывают волосы, красят лицо, кормят птицу, прядут—и снова все мы были очарованы изумительной ритмичностью их движений, красотой жестов. Женщины танцовали каждая отдельно от другой, и жесты каждой были индивидуальны, тем труднее было сохранить их ритмичность, единство во времени, а она сохранялась идеально. Затем они исполнили комический танец хромых,—танцовали так, точно у каждой из них перебито бедро, и хотя смешные движения их были на границе уродливого, они поражали гармоничностью и грацией.

«Сколько талантов вызвала к жизни наша эпоха, сколько красоты воскресила живительная буря революции»,—думал я по пути из Эривани...

...Четвёртый раз я на Военно-Грузинской дороге. Всё—знакомо—кроме «Базы экскурсантов» на станции Казбек. Экскурсии тянутся бесконечными вереницами; идут сотни здорового, весёлого народа, юноши и девицы, комсомол, студенчество. Это—люди, которые хотят знать геологию, петрографию, историю, этнографию,—всё хотят знать и как будто слишком торопятся приобрести знания. Когда много спрашивают, — мало думают и плохо помнят. Людям, которых отцы поставили в позицию полных хозяев своей страны, необходимо

помнить, что каждый камень её требует серьёзного внимания к себе.

Никогда ещё пред молодёжью не открывался так широко и свободно путь к всестороннему познанию её страны. Она может спускаться в шахты под жёсткую кожу земли, подниматься на вершины гор, в область вечных снегов, пред нею открыты все заводы и фабрики, где создаётся всё необходимое для жизни—учись, вооружайся! Нет университета более универсального, чем природа, всё ещё богатая неиспользованной нами энергией, и действительность, создаваемая волею и разумом человека.

По Союзу Советов, 1929 г.

[БАЛАХНА]

...Бумажная фабрика Балахны, о которой хочется говорить торжественными стихами, как об одном из прекрасных созданий человеческого разума.

Там человек образцово показал, как разум, расчёт и воображение могут заставить работать иные силы, оставляя человеческую силу свободной и только наблюдающей, руководящей машинами. Это—как раз то, к чему и должен стремиться рабочий класс—превращать слепые и буйные силы природы в своих разумных слуг, освобождать свою физическую энергию для того, чтоб шире и глубже развить свой разум властелина земли и сокровищ её.

На бумажной фабрике Балахны брёвна с берега Волги из воды сами идут под пилу, распиленные без помощи человека ползут в барабан, где вода моет их, снимает кору, ползут дальше по жолобу на высоту сотни футов, падают оттуда вниз, образуя пирамиды, из этих пирамид также сами отправляются в машину, она растирает их в кашу, каша течёт на сукна другой машины, а из неё спускается огромными «ролями» бумаги на платформы товарного поезда и едет в Москву.

Всё это так удивительно просто и мудро, что, повторяю, о таких фабриках следует писать стихами, как о торжестве

человеческого разума. Зал, где стоит огромная, кажется в 70 метров длиною—машина, выпускающая готовую бумагу, просторен, светел, и похож на танцовальный зал, да и все отделы фабрики удивительны по обилию света, простору, чистоте, гигиеничности. Было ясно, что рабочие уже гордятся этим новым своим хозяйством и понимают его глубоко воспитательное значение. Я вышел с этой фабрики в настроении человека, заглянувшего в светлое будущее, которое готовит для себя рабочий класс.

По Союзу Советов. 1929 г.

НАРОД ГЕРОЕВ

Моя радость и гордость—новый русский человек, строитель нового государства.

К этому маленькому, но великому человеку, рассеянному по всем медвежьим углам страны, по фабрикам, деревням, затерянным в степях и в сибирской тайге, в горах Кавказа и тундрах Севера, к человеку, иногда очень одинокому, работающему среди людей, которые ещё с трудом понимают его, к работнику своего государства, который скромно делает как будто незначительное, но имеющее огромное историческое значение дело,—к нему я обращаюсь с моим искренним приветом.

Товарищ! знай и верь, что ты—самый необходимый человек на земле. Делая твоё маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир.

Учись и учи!

Крепко жму руку твою, товарищ!

Десять лет. 1927 г.

Сердечно приветствую вас, дорогие товарищи, строители железных путей социализма. Вы не можете представить себе той радости, с которой я смотрю на вас, рабочих и хозяев великолепнейшей страны и великолепных людей, которые в столь краткий срок сумели сделать так много в тягчайших, в сущности, условиях. Я это знаю. Я думаю, что в прошлом в истории не было момента и не могло быть момента столь значительного, как тот, который мы переживаем сейчас.

Не было таких огромных событий, не было такого удивительного напряжения творческой энергии, как та, которую сейчас видишь всюду и везде. Я—немножко тоже рабочий, когда-то жил физическим трудом, кое-что знаю, многое вспоминаю, и по железнодорожной части тоже служил.

Я очень хорошо помню, как в Борисоглебске начальник движения Надеждин пришёл в железнодорожные мастерские и, поглядев на человека, которого раздавили чем-то, сказал: «Вот сволочь, сами за собой не умеют смотреть»,—повернулся и ушёл. Это была надгробная речь человеку, которого я лично знал, правда, немного знал, но о котором слышал от товарищей. Это был прекраснейший старик, много испытавший на своём веку, прекрасно влиявший на своих товарищей. Ему было что-то такое под шестьдесят. Это было не так давно.

То, что сейчас есть у нас, сильно меняет человека, который ждал каких-то светлых моментов и работал для этого по мере сил. Но, конечно, я не мог вообразить, что когда-нибудь будет вот такой день, как сегодня, когда я буду видеть перед собой таких людей, как вы, таких прекрасных людей.

Я знаю, что в каждом из вас есть какие-нибудь недостатки—мне до этого дела нет. Я знаю, прежде всего, что каждый из вас—творец нового государства, новой культуры, что каждый из вас—человек, который не остановится ни перед чем на том пути, на который он уже стал. Этот человек трудом своим поддерживает сейчас величайшее в мире дело, поддерживает осуществление самой безумнейшей мечты, которую лелеяли когда-либо лучшие люди этого мира.

Я вчера был в вашей удивительной «Свердловке», в том учреждении, которое из вашей среды даёт учителей и будущих двигателей, будущую интеллигенцию, вашу интеллигенцию, вашу кровь, вашу плоть.

Если я увижу ещё такой день, как вчера, такой, как сегодня, и те дни, которые я ещё завтра и послезавтра увижу и ещё много раз, то если я от радости не издохну—это будет чудо, чорт возьми! (Аплодисменты, крики «ура». Голос с места: «Живи дольше!»)

С удовольствием! Мне вообще жить хочется. Хорошо прожить ещё лет 60 (аплодисменты), потому что жить с вами, товарищи, страшно интересно, невероятно... В вашей среде чрезвычайно легко жить. Легко жить в этой атмосфере, которую вы создаёте фактом вашего жития, атмосфера ваша—плодотворная.

Посмотрите, сколько за столь короткий срок пролетариат выдвинул талантливейших людей во всех областях. Прошло только десять лет! Ведь это такой ничтожный отрезок времени, и вот уже у вас, чорт знает, как много достижений за это время, и этим страна обязана именно вам.

Так же, как прекрасная итальянская почва невероятно дико плодородна и родит апельсины, лимоны и всякую такую штуку в невероятном обилии, так точно у вас происходит процесс рождения новых людей во всех областях.

Я, может быть, написал бы лучше, чем говорю, но, вы понимаете, хочется сказать что-то такое, чтобы вы поверили, что вы—самое великое, самое прекрасное явление на земле и вообще когда-либо бывшее в этом мире. Привет вам, мои дорогие товарищи, родные мои (бурные аплодисменты).

Речь на IX съезде Союза железнодорожников, 29 мая 1928 г.

Здесь такая сила, и—что особенно с каждым днём меня так удивляет и радует, и как-то особенно всё более глубоко волнует, право я не преувеличиваю, буквально меня физически оздоровляет—это та атмосфера, в которой я живу, то обилие действительно работающих людей, людей, работающих не для себя, а для огромного дела, вы знаете как оно называется. Масса рабочих, культурная сила, сейчас везде и всюду развивается, начиная, с 14-летних ребят. Вы можете себе представить, как я был удивлён сегодня утром, когда ко мне пришли трое мальчишек, которые приехали из Харькова, где 7 лет существует колония моего имени. Эта колония, социально-опасных, там 400 человек. И вот трое из них приехали ко мне. Один довольно крупный ворецидивист, судившийся 3 раза и приговорённый в общей сложности на 7 лет; теперь студент Харьковского университета жи-

вёт в Харькове и всё свободное время проводит в колонии. Рядом с ним 14-летний мальчик, беспризорный, сирота и тоже воришка-карманник. Ему 14 лет, он маленький, плотный, веснушчатый, немного рябой, с очень быстрым взглядом, очень милым, он командует отрядом в 70 человек таких же, как сам. Третий мальчик музыкант, играет на чём-то. Вот такие вещи меня прямо поражают: встретить воришку, у которого 70 человек подчинённых? Вся колония разделяется на 21 отряда, и я каждые 3 месяца получаю 21 письма, и вот, 3 месяца тому назад они писали хуже, теперь пишут грамотнее и лучше. Или то, что я увидел в колонии ГПУ, это можно сделать только в стране невероятно дерзких и страшно талантливых людей, — это черт знает какая нация! Талантливая нация! Я не знаю ни одной страны, где в области искусства,—о театре и говорить нечего,—и в литературе так много сделано, продвинуто,—это, что-то фантастическое. Даже вот сейчас, когда я вижу перед собой несколько сот человек работников науки, я думаю явь ли это?..

Если бы у меня была длинная рука, я протянул бы её вам, каждому из вас, чтобы крепко пожать ваши и передать вам, ну, хотя бы десятую часть того чувства, которое я испытываю. Прекрасные люди живут в России, прекрасные люди вы!..

Речь на заседании центрального бюро краеведения 12 июня 1928 г.

Героем наших дней является человек из «массы», чернорабочий культуры, рядовой партиец, рабселькор, военкор, избач, выдвиженец, сельский учитель, молодой врач и агроном, работающие в деревне, крестьянин-«опытник» и активист, рабочий-изобретатель, вообще—человек массы! На массу, на воспитание в ней таких героев и должно быть обращено главное внимание.

О мещанстве. 1929 г.

Ленинская идея социалистического соревнования—одна из крупнейших идей этого человека, действительного вождя всей

мировой массы трудового народа. Как все его идеи, она — проста. Она требует только одного: усилить напряжение труда рабочих на самих себя, на *свое* государство, где только они — хозяева...

День индустриализации. 1929 г.

...Автор письма спрашивает: ищут ли мне подобных из числа тех, которые пробудились и поднимаются к жизни? Да, я очень много получаю писем от бодрых и скромных маленьких «великих» людей, которые неутомимой работой своею создали атмосферу, понуждающую людей «подниматься к жизни». Писем этих так много, что публиковать их невозможно, да и нет нужды: авторы этих писем хорошо знают свои цели, задачи и пути к разрешению их. Но они плохо знают общие итоги их работы и мало знают о том, как глубоко проникает их работа, как действует на некоторых людей создаваемая ими атмосфера героического труда. А студент правильно говорит: «Человек в наши дни должен быть настолько большим, чтоб видеть всю страну, чтоб жить жизнью всего нашего Союза» и,—скажу ещё раз,— как он, работая, воспитывает таких же мужественных героев труда, каков сам.

Переписка с читателями. 1930 г.

Я сегодня был на пленуме ЦК и видел людей, которых я раньше не знал. Это молодые люди, которые моложе меня лет, вероятно, на тридцать пять.

Их общая черта: они изумительно знают то, о чём говорят, они знают своё дело как мастера социалистического строительства.

Это действительно новые хозяева земли, хозяева-социалисты, призванные историей создавать новые условия жизни.

Беседа на расширенном заседании рабочего редсовета издательства ВЦСПС. 1931 г.

За 15 лет рабоче-крестьянская масса выдвинула из среды своей тысячи изобретателей и непрерывно выдвигает их. Они экономят Союзу Советов десятки миллионов и постепенно освобождают население от импорта.

У рабочего, который чувствует себя хозяином производства, естественно, развивается сознание его ответственности перед страной: это сознание заставляет его стремиться к улучшению качества продукции, к снижению её стоимости.

Крестьянин до революции работал в условиях XVII в., весь зависел от стихийных капризов природы, от своей истощённой земли, разодранной на мелкие куски. Теперь он вооружается тракторами, сеялками, комбайнами, широко пользуется удобрением, на него работают 26 агрономических научно-исследовательских институтов. Человек, не имевший никакого представления о науке, наглядно убеждается в её силе, в мощности человеческой мысли.

Деревенский парень, являясь работать на завод, построенный на основании новейших и самых совершенных завоеваний техники, попадает в мир явлений, которые, поражая его воображение, возбуждая мысль, освобождают её от древних диких суеверий и предрассудков. Он видит работу разума, воплощённую в сложнейших машинах и станках. По неопытности своей он, конечно, портит кое-что, но материальный убыток, наносимый им, покрывается ростом его интеллекта. Он видит, что хозяева завода—такие же рабочие, как сам он, что молодой инженер – сын рабочего или крестьянина. Он очень скоро убеждается, что завод для него—школа, открывающая перед ним возможность свободного развития его способностей. Если он обладает ими, завод выдвигает его в одно из высших учебных заведений, ибо есть уже и заводы, при которых открыты высшие технические школы. Его нервно-мозговая энергия, в которой скрыта наша способность исследования и познания явлений мира, мощно возбуждается всей суммой условий, которые были закрыты от его отцу.

Он посещает театры, признанные лучшими в Европе, читает классическую литературу Европы и старой России, бывает в

концертах, посещает музеи, изучает свою страну, как до него никто не изучал её.

О старом и новом человеке. 1932 г.

Индустриализация нашей страны воспитывает из простых рабочих от станка тысячи изобретателей, талантливых техников и множество людей совершенно изумительной, разнообразной талантливости. Эти люди—«ударники» в работе по созданию нового мира. Этим людям их одарённость даёт законное право руководить энергией рабоче-крестьянской массы, работой всех граждан Союза социалистических советов. Наша страна интеллектуально (умственно) растёт с невероятной быстротой. Мы уже поставили перед собой ряд почти фантастических задач и разрешили их. Борьба против засухи кажется тоже фантастической задачей. Но это только кажется. Борьба эта необходима, её нужно начать. Мы должны дать бой злым силам природы, мы все «от мала до велика» обязаны бороться за счастье нашей великой страны. Мы должны знать, что нет в мире силы, более мощной, чем сила коллективной разумной воли. Чудеса на земле творит разум, только он, и никто больше. Засуху необходимо уничтожить, и она будет уничтожена.

Засуха будет уничтожена. 1931 г.

Наши «знатные люди» потому знатны, что хорошо знают цель своей жизни, всё более крепко понимают решающее значение силы коллективного труда и знают, что как настоящее, так и будущее—в их могучих руках. Труд для них становится искусством, и они уже видят, что искусство их труда изменяет, преображает их родину. Подлинные хозяева своей земли, неутомимые работники, они непрерывно создают новые факты, а расширение количества фактов углубляет их познание смысла труда, как силы, которая всё создаёт, решает все загадки жизни, побеждает все трудности её. Наши «знатные люди»—люди новой, революционной энергии и мысли.

Беседа. 1934 г.

...Нам следует помнить, что вся наша работа, — работа на победу.

М. Горький.

Товарищи, то, что делает человек, значительнее всего того, что делает природа, которой мы обязаны только тем, что она производит нас на свет. Да, она нас производит, а всё остальное от нас. Всё, что мы делаем для нашего удобства, все материальные ценности, которые помогают нам жить, все машины, которые облегчают труд рабочего, всё это делается руками человека. Это — труд человека, это наше создание, это мы творцы второй природы.

И вот мы, творцы второй природы, теперь, когда рабочий класс в Советской Социалистической Республике взял власть в свои руки, когда он взял в свои руки орудия производства, стали полными хозяевами страны.

Теперь рабочий класс, умевший побеждать столь многое, вне всякого сомнения, бесспорно сумеет устроить ту идеальную, справедливую, красивую жизнь, которую он давным-давно заслужил, на которую он имеет право.

Вот, товарищи, те думы, те настроения, та сила, которые всю жизнь держали меня на ногах. Держали, держат и будут держать до конца моих дней.

Я говорю, товарищи, что вовсе не важен тот факт, что Алексей Пешков стал вследствие каких-то особенных причин Максимом Горьким. Это не важно. Важна, товарищи, одна воля человека, направленная к цели.

Важно желание быть тем, чем хочет стать человек, свободно делать то, что хочет он. Как раз эти условия вам даны.

Я настойчиво повторяю ещё раз, что я не родился с какими-то особенными задатками. Я говорю искренне и говорю это не в первый раз. В среде нашей, в лице вас есть много людей с гораздо более тяжёлым прошлым, чем моё. В среде тех людей, которые строят сейчас новую культурную жизнь в Союзе Советских Республик, таких людей очень много. Это та старая гвардия большевиков, которая подняла величайший бунт, который когда-

либо знал мир. Эти люди не хуже меня, они не родились, по моему мнению, с какими-то особенными способностями, данными им от природы, но они приобрели их в работе.

Товарищи, очень важно усвоить эту мысль. Человек может сделать для себя всё, что он захочет, если он действительно только захочет, если вся воля его направлена к этой цели. Тогда он сможет, он сделает, он победит.

Речь на торжественном заседании пленума Тбилисского Совета 27 июля 1928 года.

Я знаю, что такое труд: это источник всех радостей, всего лучшего в мире. И никогда за всю историю человечества, никогда человеческие ум и воля не взлетали так высоко, как теперь у нас.

Будем верить, что рука, сделавшая всё то, что я видел, будет и дальше строить. А если кто-нибудь попытается остановить эту руку, она сожмётся в кулак, который раздробит всё, что будет стоять на его пути.

Выступление перед рабочими Балахны. 1928 г.

Я думаю, никогда ещё в мире, за всю его историю, труд не обнаруживал так ярко и убедительно своей сказочной силы, преобразующей людей и жизнь, как обнаруживает он эту силу в наши дни, у нас, в государстве рабочих и крестьян.

Переписка с читателями. 1930 г.

... Каждый человек должен делать своё дело во всю силу своих способностей, со всей энергией, которой он обладает,—лучшие из вас особенно хорошо знают это, и трудовой героизм их служит примером для всего трудового народа Союза Советов, служит примером и для меня. Время для нас дорого, нельзя терять даром ни единой минуты.

Рабочим Магнитостроя и др. 1931 г.

Пятилетка строит не только гигантские фабрики, но и создаёт людей колоссальной энергии. Сотни таких новых людей уже стоят у нас на ответственных боевых постах рядом со старыми бойцами рабочего класса, которые полжизни учились работать в подполье, в тюрьмах, в ссылке, на каторге. Литераторам и критикам не следует забывать, что они живут пред лицом и в окружении таких людей, что тысячи их идут в литературу и прессу, как на боевые участки культурной революции.

О литературе и прочем. 1931 г.

На пространстве от берегов Балтики до Тихого океана и от берегов Ледовитого океана до Закавказья и предгорий Памира совершается великое и прекрасное, всемирно необходимое дело воспитания людей правдой коллективного труда.

О воспитании правдой. 1933 г.

С глубоким уважением, с восторгом приветствую создателей Днепростроя. Горячо поздравляю пролетариат, хозяина Союза Советов, с новой победой.

Когда явилась идея Днепростроя, нытики, скептики и враги пролетариата, усмехаясь, утешали друг друга: «Ничего не выйдет у большевиков, не одолеть им силы Днепра». Одолели. Вышло. Днепр побеждён и отныне будет покорно служить делу развития социалистической культуры.

В чём смысл этой победы, кроме её промышленного значения для нашей страны?

Огромное количество энергии быстро текущей реки бесполезно уходило в море, где и без того воды много. Разумно руководимый труд людей организовал эту энергию и заставил её плодотворно служить делу обогащения земли нашей. Вместе с тем пролетариат Союза Советов доказал сам себе, что нет такого препятствия, которое он не может преодолеть, нет цели, которую он не в состоянии достичь.

Чем дальше, тем всё более трудные задачи устроения хозяйства ставит перед собою та часть рабочих и крестьян, которая организована в партию большевиков, воплощает в себе разум

160-миллионной массы населения и ведёт её от победы к победе.

Вот—будущей весной соединятся каналом Белое море с Балтийским. Уже начаты работы соединения Волги с Москвой-рекой. Москва-река станет судоходной, сольётся через Оку снова с Волгой, и ставится задача отдавать морям как можно меньше пресных вод, употребляя их на орошение засушливых местностей. Начинается работа по орошению заволжских степей для того, чтобы дать стране новые миллионы гектаров земли под пшеницу. Начато изучение водного массива Севанского озера в целях орошения Армении, Грузии, Азербайджана.

Я считаю лишним напоминать о плане электрификации Сибири энергией Ангары и лишним напоминать о таких грандиозных стройках, как Магнитогорск и подобные ему. Разум организованного пролетариата изменяет географию Союза Советов, изменяет лицо своей страны.

Привет создателям Днепростроя.
1932 г.

На-днях посетила меня группа рабочих и дружески рассказала мне о работе фабрики синтетического каучука, о замечательной коммуне на бывшей Корзинкинской, о промышленном и жилищном строительстве в крае и в городе. Накануне этого «визита» были у меня колхозники из Татарии—пионеры, комсомольцы, партийцы, беспартийные, старики, награждённые орденами за их героический труд,—рассказывали о своей работе на полях, о своей жажде технической агрикультуры и о культурном росте республики своей. Ежедневно вижу я молодёжь Союза Советов, работающую в областях литературы, техники, науки, администраторов, философов, бойцов Красной Армии и зоркую стражу пролетариата—бойцов ГПУ.

Крайне трудно уложить богатейшие впечатления дня в один рассказ, в одну картину, да и времени нехватает попытаться сделать это. Но всё увереннее думается: какой умной, красивой становится жизнь, какие отличные люди воспитываются у нас, в Союзе племён, где, создавая бесклассовое общество, хозяйствует

рабочий фабрики и поля, где он с каждым годом всё шире открывает для детей своих свободный путь к социализму.

Письмо к рабочим Ярославля.
20 сентября 1933 г.

Товарищ Сталин рассказал нам о причинах и о смысле стахановского движения. Стахановское движение явилось результатом культурного роста рабочих и колхозников, результатом сознания ими победоносной силы и государственного значения социалистического труда, результатом освоения техники и роста в людях чувства ответственности пред родиной за свою работу, за своё поведение...

Стахановское движение—огненный взрыв массовой энергии, взрыв, вызванный колоссальными успехами труда, сознанием его культурного значения, его силы, освобождающей трудовое человечество из-под гнёта прошлого. Стахановское движение—социалистическое соревнование в труде, приподнятое на ещё большую высоту. Мне кажется, что понятие «соревнований» теперь пополняется новым содержанием и должно будет весьма благотворно воздействовать на быт, помочь людям Страны Советов установить между ними новые отношения.

Социалистическое соревнование ставит целью своей сделать всех нас, социально равноправных, равносильными и равноценными, не стесняя развития своеобразных способностей каждого, а помогая росту их...

В Союзе Советских Социалистических Республик все граждане должны заботиться о том, чтоб каждый из них до конца развил и полностью выявил свои способности. Поэтому социалистическое соревнование у нас—по существу, по смыслу своему—взаимопомощь 170 миллионов народа—миллионов рабочих, колхозников, инженеров, теоретиков и практиков науки, литераторов, артистов различных искусств—взаимопомощь и сотрудничество в деле создания социалистической культуры. Стахановцы наглядно показывают нам, что любой человек может быть артистом в своём деле,—если он этого хочет. Чем сильнее, чем более ярко выражает пред нами артист свой талант,

тем больше мы уважаем и любим его. Нуте-ко, давайте, подражая стахановцам, постараемся быть такими же честными артистами, каждый в своей работе.

О новом человеке. 1935 г.

☆

...О жизнеспособности, талантливости, о мощных запасах творческих сил пролетариата с неоспоримой очевидностью говорят миру героический труд пролетариев Союза Советов и фантастические результаты этого труда.

М. Горький.

Что такое рабочий?

Это человек, который взял почти бесформенный кусок той или иной материи—железную руду, глину, дерево—создаёт из этого куска вещи и орудия прекрасной формы и огромной полезности: точнейшие измерительные аппараты, сложные, почти живые машины, стекло, красивую мебель и всё, что облегчает труд людей, украшает их жизнь.

Всё на поверхности земли создано рабочей человека, и каждая вещь нашего обихода являет собою кристаллизованную плоть и кровь рабочего, каждая вещь, какова бы она ни была,—воплощение человеческой энергии.

Беседа о труде. 1920 г.

...Рабочий класс показал себя в эти десять лет великолепным хозяином, героическим строителем государства, ...его работа в эти годы изумит будущего историка русской революции,—изумит именно своим сказочным мужеством.

О журнале «Наши достижения». 1928 г.

...Для каждого грамотного и политически сознательного рабочего его труд, как бы он ни был мелок, каким бы ничтожным ни казался,—всё-таки является, по существу своему, великим трудом строения новой жизни. Такая точка зрения должна повышать энергию единиц, усиливать беспощадность в борьбе с грязными привычками людей, с их ленью, неуважением к труду, с бездушным отношением к людям, к пьянству, распутству и ко всяким прочим мерзостям жизни.

«Своё» для рабкора не только та фабрика, где он работает, не только то дело, которое он делает, «своё» для него вся страна Союза, всё созданное и создаваемое в ней...

Человек должен быть выше и шире своей работы, тогда его работа будет лучше. На работу надо смотреть, как на игру оркестра музыкантов: они играют на различных инструментах, а получается превосходная музыка. Вот к такой музыкальности, к такому единодушию в труде и должен стремиться рабочий класс...

Бодрее, товарищи, учитесь чувствовать себя и на малом деле большими людьми.

Письмо рабселькорам. 1928 г.

Нет у меня достаточно красивых и сильных слов для того, чтобы поздороваться с рабочими героического Сталинграда так, как они того достойны.

Приветствие рабочим Сталинграда. 1929 г.

Наш герой теперь—рабочий-ударник, тот, кто ставит «мировые рекорды» успешности труда, как это было отмечено американцами на Днепрострое. Наш герой—простой человек, который в тяжёлых условиях неутомимо и мужественно строит своё, рабоче государство равных—строит, разрушая все козни врагов, преодолевая все препятствия.

Письмо редакции журнала «Будущая Сибирь». 1930 г.

Ударничество—это отражение идей ленинизма в области труда, цель которого—создать путём широчайшей, всесторонней индустриализации Союза Советов первое в мире социалистическое государство равных.

Ударничество—выявление рабочим классом сознания своей политической всевластности, сознания своей силы и необходимости употребить всю массу этой силы на то, чтобы основная задача рабочего класса была решена как можно лучше и как можно скорее...

...Да здравствуют ударники, передовой отряд многомиллионной армии подлинных героев труда.

Письмо к ленинградским рабочим — участникам ударных бригад имени Горького. 1931 г.

Советский день, судя по советской прессе, судя по письмам рабочих-ударников, по работе изобретателей, по неисчислимой массе очевидных, реальных фактов строительства нового мира,— советский день громогласно, на весь мир поёт о гигантской героической, талантливой работе вашего класса, поёт о человеке-герое, которого рождает коллективный героизм класса.

По поводу одной полемики. 1932 г.

☆

Основное богатство каждой страны заключается в количестве разума, в количестве интеллектуальных сил, воспитанных и накопленных народом.

М. Горький.

Для того чтобы превратить мёртвые сокровища в живую, полезную нам силу, необходимо иметь огромное количество дисциплинированной воли, научных знаний и технически уме-

лых рук. Только пламенная энергия научного знания может превратить мёртвую массу железной руды в изящный двигатель, в математически точную машину; только люди науки, её рабочие могут извлекать несомненно полезное из видимо бесполезного, каковы, например, горючие сланцы или полевой шпат...

Работники науки должны быть ценимы, именно как самая продуктивная и драгоценная энергия народа, а потому для них необходимо создать условия, при которых рост этой энергии был бы всячески облегчён.

Что такое наука? 1920 г.

Нет силы более могучей, чем знание: человек, вооружённый знанием, непобедим. Если бы я мог,—сейчас это невозможно,—сообщить вам о том, что разум представителей нашей науки сделал за последние два года разрухи, голода и холода, вы радостно удивились бы. В области науки мы, русские, отрезанные, оторванные от учёной Европы, за последнее время сделали огромные завоевания. Поразитесь, узнав, как могли люди в столь тяжёлых условиях достичь таких результатов, и вы воздадите хвалу этим мужественным людям, которые не ушли в стан врагов ваших, а остались с вами и со своей работой.

Речь на заседании Петербургского совета. 30 апреля 1920 г.

Я имел высокую честь вращаться около них [русских учёных.—*Ред.*] в труднейшие дни—19—20-й г. Я наблюдал, с каким скромным героизмом, с каким стоическим мужеством творцы русской науки переживали мучительные дни голода и холода, видел, как они работали и видел, как умирали. Мои впечатления за это время сложились в чувство глубокого и почтительного восторга перед Вами, герои свободной, бесстрашно исследующей мысли. Я думаю, что русскими учёными, их жизнью и работой в годы интервенции и блокады дан миру великолепный урок стоицизма и что история расскажет миру об этом

страдном времени с тою же гордостью русским человеком, с какой я пишу Вам эти простые слова. В них нет никакого преувеличения, так я чувствую.

Письмо к академику С. Ф. Ольденбургу, 23 августа 1925 г.

Глубокоуважаемый Александр Петрович!

Разрешите сердечно поблагодарить вас и членов Академии наук, вами возглавляемой, за почётное и слишком лестное для меня поздравление. Разрешите также и мне сказать несколько слов, может быть не совсем уместных, но которые я должен сказать, повинуясь чувству моего глубокого изумления и почтения перед творчеством работников науки и пред русскими её творцами. Это почтительное изумление я испытал ещё в юности, когда полудиким человеком я впервые познакомился с чудесными достижениями положительных наук и с неутомимой работой учёных, окрыляющей разум и волю человека. 40 лет прошло с той поры, и, насколько мне позволяли мой недисциплинированный школой разум и моя не очень спокойная жизнь, я усердно, по мере сил, следил за фантастически быстрым ростом научных гипотез и теорий, за сменой их, за их отражением в практике жизни, в технике. Именно работы человека в этой области воспитали моё восхищение человеком, моё непоколебимое уважение к нему и веру в его творческие силы. Я немало читал о героях науки и мучениках её. Это внушало мне высокую оценку психологического типа учёного, оценку, подтверждённую личными встречами с такими людьми, как Сеченов, Боргман и другие. И вот, наконец, случилось так, что мне в течение 3 лет пришлось непосредственно наблюдать учёных Петербурга. В эти годы я непосредственно убедился в обаянии и величии типа русского учёного. Никогда не забуду Хвольсона, который работал,—писал книгу «Физика и её значение»,—в маленькой тесной комнате при 2 гр. ниже нуля, одетый в зимнее пальто, в сапоги с галошами и в нитяных перчатках, работал, не жалуясь на эти ужасающие условия. Фактов, подобных этому, я знаю много. Когда-

нибудь кто-то напишет книгу «Русские учёные в первые годы великой революции». Это будет удивительная книга о героизме и мужестве и о непоколебимой преданности русских учёных своему делу,—делу обновления, облагорожения мира и России. Не мне говорить о напряжённой, изумительно богатой результатами работе русских учёных за истёкшие десять лет. Но, как русский человек, я почтительно и благодарно склоняю голову перед вами и перед всеми работниками науки, которым, на мой взгляд, титул творцов приличествует более, чем людям, работающим в иных областях.

Письмо академику А. П. Карпинскому президенту Академии Наук СССР, 1927 г.

Но, несмотря на тяжесть условий жизни и вопреки им, творческая мощь России быстро растёт. Об этом говорит, например, тот факт, что—как заявлено было в Москве, на съезде физиков—в то время как раньше в европейских журналах печаталось за год 20—30 докладов русских учёных, ныне печатается до ста и свыше ста докладов. При царизме ежегодно ресурсы геологического комитета не превышали нескольких сот тысяч рублей. Сейчас бюджет комитета поднялся до шести миллионов рублей в год, а в культурных государствах Запада, после войны, ассигновки научным учреждениям значительно сокращены. Обилие научных открытий, широкое развитие краеведчества, рост количества научных экспедиций, ряд новых научных учреждений, институтов, наконец успешность по электрификации страны, всё это и ещё многое должно бы убедить и слепых и глухих, что Россия действительно начала жить новой жизнью и что человек её стал более значительным человеком, чем он был десять лет тому назад.

Заметки читателя. 1927 г.

Учёных сейчас можно по пальцам пересчитать. Они насчитываются сотнями, а крупные—десятками. Да, только десятки крупных учёных делают настоящую науку, революционизируют

её. Но недалеко то время, когда ваша физическая энергия будет свободной, будет превращаться в интеллектуальную энергию, когда в область науки войдут тысячи, десятки тысяч людей. Это же страшнейший рычаг! Есть много таких вещей, которые действительно не могут не изумить, которые, конечно, сыграют огромнейшую роль в жизни человечества. Это стоит страшных усилий единицам. Подумайте, что же будет, если, вместо одиночек, будут работать в области науки десятки, сотни тысяч?

Беседа на расширенном заседании рабочего редсовета издательства ВЦСПС. 1931 г.

В науке у нас много сейчас открытий. Здорово работают молодые учёные. Вы, может быть, слышали—решено сейчас строить всесоюзный институт экспериментальной медицины... Это—огромная затея. Нигде в Европе нет такого учреждения. Это—сверхакадемия. Растёт народ! У нас много выдвинулось в науку замечательных людей из молодёжи. Вот, например, теперешний председатель общества физиологов, крупное имя, мировая известность! А ведь бывший пастушонок, гармонист в трактире, борец в цирке. Сейчас—профессор с мировым именем... Вот таких выходцев из рабочих и крестьян у нас много.

Беседа с делегацией колхозников Татарии 20 сентября 1933 г.

Не было и нет в мире государства, в котором наука и литература пользовались бы такой товарищеской помощью, такими заботами о повышении профессиональной квалификации работников искусства и науки.

Доклад на съезде советских писателей 17 августа 1934 г.

В то время как за границей прогрессирует фашистское варварство, у нас высокими темпами растёт культура. У нас развиваются такие науки, о которых учёные за границей и мечтать не смеют. У нас наука разрешает огромные задачи, связанные

с воспитанием будущего поколения талантливых, физически сильных и ловких людей социалистического общества.

Беседа с советскими поэтами
29 июля 1935 г.

В 1919 г. я в качестве одного из трёх членов «Комиссии помощи профессору Ивану Петровичу Павлову» пришёл в «Институт экспериментальной медицины», чтобы узнать о нуждах знаменитого учёного.

— Собак нужно, собак!—горячо и строго заявил он.—Положение такое, что хоть сам бегай по улицам, лови собак!

В его острых глазах как будто мелькнула весёлая улыбка.

— Весьма подозреваю, что некоторые мои сотрудники так и делают: сами ловят собачек.

— Сена нужно хороший воз,—продолжал он.—Нужно бы и овса. Лошадей дайте штуки три. Пусть будут хромые, раненые, это неважно, только были бы лошади!

Он быстро объяснил, что лошади нужны для того, чтоб получить сыворотку из их крови. В комнате было так же холодно, как на улице. Иван Петрович—в толстом пальто, на ногах валяные ботики, на голове шапка.

— У вас, видимо, дров нет?

— Да, да! Дров—нет.

Он пошутил:

— Говорят: теперь не дома отапливаются печами, а печи домами. Но—деревянных домов тут, близко, нет. Дров давайте. Если можно.

— Продукты я получаю из «Дома учёных». Удвоить паёк? Нет, нет! Давайте, как всем, не больше.

Требуя помощи его научной работе, от помощи персонально ему он решительно отказался...

И. П. Павлов был—и остаётся—одним из тех редчайших, мощно и тонко выработанных органов, непрерывной функцией которых является изучение загадок органической жизни. Он—изумительно целостное существо, созданное природой и работой как бы для познания самого себя. Высшая для человека форма

самопознания является именно как познание природы посредством эксперимента в лаборатории, в клинике и борьба за власть над силами природы посредством социального эксперимента.

Из воспоминаний о И. П. Павлове. 1936 г.

☆

...Ваша боевая, творческая жизнедеятельность действительно воспитывает поколение героев...

М. Горький.

Спасибо и за поздравление, это «омолаживает», хоть я не очень старик, т. е. всё ещё не чувствую себя стариком. «Омолаживает»... сознание рабочей «надобности», сознание, что жизнь прожита—не зря, оказалась нужной и полезной. Хочется ещё и ещё работать. Закончив третий том моего романа [«Жизнь Клима Самгина»], я, наверное, займусь журналистикой, чтоб встать теснее к жизни, главное—к молодёжи. Эта порода людей восхищает меня. Вот, например, сегодня—получил из Башреспублики стишонки и письмище от 16-летнего парня, пишет смело, грамотно, своими словами и, что всего лучше,—уже многое в прошлом не понятно, даже враждебно ему, а враждебно как раз то самое, что и должно быть таковым для человека. Таких корреспондентов у меня—десятки.

Письмо к В. Илларионову. 1928 г. 15 марта.

Сотни тысяч, миллионы молодёжи «отцветали, не успев расцвести», погибали под гнётом идиотизма уездных городков, сёл и деревень, теперь перед этой молодёжью открыты все пути и её всё более мощно двигает жажда знания. У нас нет безработицы, каждый юноша, каждая девушка знают, что для

них обеспечено право на труд—чего нет нигде в мире,—перед нашей молодёжью нет вопроса о работе, она ставит перед собою вопрос о выборе профессии. Всё глубже в неё врастают корни партии, высасывая из почвы наиболее ценные соки, питаясь молодой энергией, революционно организуя, разнообразно квалифицируя эту энергию, обогащая страну интеллектуальными силами. Это—главное, самое драгоценное, самое решающее из всего, что создаётся в нашей прекрасной, богатейшей, огромной счастливой стране.

О самом главном. 1932 г.

В мощном шуме социалистического строительства, в работе по созданию первой в мире и несокрушимой крепости пролетариата мы не очень много тратим внимания на факты изумительного мужества нашей молодёжи, а факты эти многочисленны, их рождает почти каждый день. Вот люди преодолели пески пустыни Кара-Кум, поднялись в стратосферу на высоту, которой до них никто не достигал, но трое взлетели ещё выше. Они упали, разбились насмерть. Готовится третий полёт.

По английским газетам, 17-летняя телеграфистка парохода «Роза Люксембург», потерпевшего аварию в Ламанше, оставалась на борту и отправляла сигналы о катастрофе до поры, пока вся команда не спустилась на воду в шлюпках.

Люди прошли на лыжах 5 200 вёрст, люди ежедневно тратят энергию на социалистическое соревнование в труде, работают на островах, во льдах и бурях Ледовитого океана, на плоскогорьях и в ущельях Памира, у подножия Алагеза, в сибирской тайге, среди болот Белоруссии, на морях Каспийском и Охотском.

На далёком севере, между Америкой и Азией, живёт на льду, повисла над глубиною океана, проглотившего их судно, группа людей, которых в любой момент льдина может сбросить с себя. Живут и, ожидая, когда им удастся перебраться на материк, спокойно беседуют с Москвой.

На всех точках нашей огромной, многообразной, богатейшей страны обнаруживают совершенно изумительную стойкость, выносливость, неистощимость молодой и дерзновенной энергии.

Что возбуждает в нашей молодёжи энергию, которая, проявляясь всё более часто и ярко, вызывает изумление и восхищение даже у врагов?

Её возбуждает сознание высокой цели, поставленной перед нами гением Ленина,—цели, по пути к которой так решительно и успешно ведёт нас Иосиф Сталин с товарищами.

Поколение героев. 1934 г.

С каждым годом наши парады физкультуры являются всё более весёлыми, яркими и богатыми. Всё более уверенно твёрд шаг молодёжи, и ярче горит в глазах её радость жить в стране, где так быстро и красиво воспитывается тело и так огненно, победоносно цветёт в нём боевой, героический дух, ежедневно выявляя себя в работе на обогащение народа, на оборону родины, против врагов, почти ежедневно сверкая смелыми подвигами на благо своей страны.

Видя эти десятки тысяч юношей и девушек, стройными рядами идущих к великому будущему, чувствуешь волнение, от которого сердце готово разорваться. Чувствуешь и печаль, оттого, что у тебя нет места в рядах этой могучей армии, что ты уже не в силах итти в ногу с ней...

Но это личная печаль, и она сгорает быстро, как вспышка спички. Побеждает радость жить среди людей, призванных историей освободить весь мир трудящихся. В этой радости сгорают все печали, легко переживаются все несчастия, даже и не личные. Радость и гордость—успехами труда и культурного роста—когда и кем испытывалось это в той силе, как мы имеем право испытывать возвышающее влияние этих сил?

Да здравствует простая, ясная мудрость наших вождей, первых и единственных в мире вождей, которые не пошлют, никогда не пошлют народ свой порабощать манчжуров, абиссинцев, китайцев, индусов!

Да здравствует Иосиф Сталин, человек огромного сердца и ума, человек, которого вчера так трогательно поблагодарила молодёжь за то, что он дал ей «радостную юность»!

Да здравствует молодёжь, счастливая тем, что она имеет возможность свободно развивать все свои способности, все таланты, счастливая тем, что имеет возможность свободно учиться великой и действительной, неоспоримой истине!

[О параде физкультурников]. 1935 г.

Первое в мире государство пролетариата является школой, где молодёжь многочисленнейших народностей воспитывается интернационально, где юношество армян, башкир, грузин, татар, туркмен и всех прочих народностей, не теряя национального своеобразия своих культур, постигает высшую форму культуры трудового человечества—интернациональную культуру, которая должна объединить рабочих и крестьян всей планеты нашей во единое, могучее, необозримое целое.

Комсомол, неистощимый резерв партии, уже показал миру свои творческие силы по работе строительства социалистического государства, показал и непрерывно, изо дня в день показывает эти силы.

Приветствие X съезду ВЛКСМ. 1936 г.

★

Больше внимания друг к другу, острая и беспощадная ненависть к врагам — вот чего требует борьба, вот что даёт победу.

М. Горький. Привегствие 1-му всесоюзному съезду ударников-колхозников. 1933 г.

Меня нельзя упрекнуть в идеализации крестьянства, но я утверждаю, что в Союзе Советов уже образовался значительный слой крестьян, более широко и всесторонне знакомых с жизнью мира, более активно культурных, чем крестьяне любого из государств Европы.

Десять лет. 1927 г.

...В мире трудового народа, в рабоче-крестьянском мире вспыхнула и ярким огнём горит великая и простая мысль Ленина: бедняки, поймите, что мелкое частное хозяйство—главная преграда экономическому и всякому равенству людей! Коллективизируйтесь, сбросьте с плеч своих тяжкую власть земли над вами, вооружайтесь машинами, вооружайтесь наукой, учитесь извлекать из земли хлеба в сто раз больше, чем она давала вам.

Вы были рабами природы и земли—становитесь подлинными хозяевами её, воспитывайте детей ваших агрономами, врачами, инженерами, учителями, пусть они освоят науку и освободят вас от тысячелетней тёмной, полуголодной, уродливой жизни. Давайте больше хлеба, он вернётся к вам в виде машин, обуви, одежды, хороших домов вместо душных изб, хороших школ и ясель для детей, хороших дорог,—хлеб ваш вернётся к вам сторицей и на счастье ваше, для того чтоб богатели все люди, всё крестьянство, а не сотни, не тысячи кулаков. Не будет этого, значит—будет то, что было, то есть у одного человека—три коровы, а у другого—три воробья на дворе, да и тем клевать нечего...

...Рабоче-крестьянская власть ставит перед собой огромнейшую задачу: сделать так, чтоб у каждого человека из 162 миллионов населения Союза Советов было всё, что необходимо для лёгкой, здоровой, разумной жизни, чтоб люди не рвали друг другу горло за кусок хлеба, чтоб каждый крестьянин и рабочий чувствовал себя хозяином своей страны и бесчисленных сокровищ её.

Письмо селькору-колхознику. 1930 г.

Мы уже можем сказать, что нет страны, где крестьянство читало бы так много и жадно, как оно читает в Союзе Советов.

Чего, каких результатов достигает эта масса литературы? Крестьянство становится культурнее, отрицать этот факт может только слепое отчаяние погибающих.

Крестьянство уже выделило и непрерывно выделяет из своей среды тысячи культурных работников на земле, агрономов, тех-

ников, врачей, учителей, литераторов, всую крепкую «соль земли», и она не «на здоровье» мещанину, а в погибель ему, и весь этот процесс культурного роста деревни не что иное, как процесс изгнания солитера из организма рабоче-крестьянского государства.

О солитере. 1930 г.

Товарищи! Нужно очень твёрдо знать и помнить, как велика была революционная работа партии Ленина и как всё более огромна и разумна эта работа в наши дни под руководством Иосифа Сталина и ЦК партии. Надобно помнить, что урожай хлебов во многом зависит от капризов природы и что нам нужно учиться взнуздывать эту природу, как норовистую лошадь, нужно учиться предвидеть её капризы и побеждать их. Научиться этому—возможно, вся наука—в наших руках, с каждым годом наукою овладевают сами рабочие, крестьяне.

Идя большими шагами к зажиточной жизни, колхозники должны всё больше обращать внимания на своих детей, всё шире открывать пред ними пути к науке. Мы должны научиться превращать силу ветра в электрическую энергию, так же как научились превращать в электричество движение воды. Нам нужно оросить засушливые места, осушить болотистые, построить миллионы километров дорог, построить тысячи школ, общественных хлебопекарен, прачечных, бань,—перед нами огромнейшее количество разнообразной работы, и вся эта работа—на себя самих...

Письмо колхозникам артели «Мордовский труженик», Сталинского района, Средневолжского края. 1933 г.

...Растёт количество удобрений, обеспечивая урожаи, расширяется трудовой опыт, и через несколько лет всё крестьянство Союза Советов, перейдя на колхозное, большевистское хозяйство, начнёт повсеместно строить города с общественными столовыми, хлебопекарнями, прачечными. Этим женщины освободятся

от каторжной домашней работы, которая бесполезна и преждевременно пожирает их силы, их здоровье, а непрерывный рост количества сельскохозяйственных орудий сократит и облегчит тяжкий труд мужчин. Построят различные школы высшего типа, театры, клубы, библиотеки и навсегда уничтожится различие между городом и деревней, главное же—исчезнет почва, на которой неизбежно рождаются грабители чужого труда и различные лодыри, лентяи, идиоты—«мирские захребетники» и паразиты трудового народа.

Великие дела совершаются в нашей стране людьми, которые искренне, твёрдо и смело идут по пути, указанному Лениным, равняются по генеральной линии Центрального Комитета партии большевиков. Много ещё у нас врагов и не бессилен враг, если он способен был организовать вредительство на Украине.

Враг—силён, хитёр, жесток, но всё более ярко и пламенно разгорается разум рабочих и колхозников-крестьян, и этот огонь выполет и сожжёт врага, так же как выпалывают на полях и сжигают сорные травы.

Читая письмо ваше, вспомнил, как рабочие Гуся-Хрустального, вероятно близкие ваши соседи, в 19 году пускали завод свой в работу: сами «на себе» возили дрова, восстанавливали производство своими руками. Молодёжь ушла на фронта войны против генералов, фабрикантов, помещиков, а старики, женщины, подростки, работая, как настоящие герои труда, добились своей цели—завод ожил. Сколько у нас было фактов такого смысла и все они говорят одно и то же: хорош у нас трудовой народ, и когда он хочет быть настоящим советским народом-коллективистом—умеет он быть таковым.

От всей души желаю вам, товарищи, здоровья, бодрости духа, непоколебимо крепкой веры в скорую победу вашего великого дела—строительства нового, социалистического общества—живите дружно!

Письмо колхозникам сельскохозяйственной артели имени М. Горького, села Губцева, Гусевского района, Ивановской области. [*1933 г.*]

Поздравляю вас, товарищи колхозники, с окончанием работы вашей на съезде. Работа эта будет иметь огромное, историческое значение для всей страны Союза Советов, для нашей родины, которую ваш труд делает всё более прекрасной и богатой.

Возвращаясь домой, каждый из вас расскажет людям о том, что видели вы, что испытали.

Миллионы крестьян-колхозников узнают от вас о том, какие простые, хорошие люди вожди нашей страны, организаторы вашего труда; узнают, как прост и доступен мудрый товарищ Сталин, с утра до вечера присутствовавший среди вас; узнают, что эти вожди, бывшие рабочие, непоколебимые революционеры, желают только одного, стремятся только к единой величайшей цели, чтобы всему трудовому народу Союза Социалистических Республик жилось легко, богато, разумно, весело.

Ваши правдивые рассказы обо всём этом ещё более усилят стремление всех народностей Союза к зажиточной жизни, к знанию и крепкому товарищескому единству.

Учите людей ценить честный труд друг друга, бережно относиться к продукции труда, к машинам и ко всему, что сделано руками таких же рабочих, как вы. Чем бережнее, заботливее отношение к машине, тем дольше она работает, тем меньше надо будет делать новых, что ведь ясно.

Вам ещё много надо: надо уничтожить разницу между городом и деревней, надобно построить в деревнях хорошие школы, больницы, хлебопекарни, прачечные, ясли, театры, клубы, кино, водопроводы, канализацию.

Когда вы рассеете по всей стране заряд энергии, полученной вами на съезде, эта энергия в свою очередь повысит трудоспособность десятков миллионов людей, что должно будет благотворно сказаться на успехах сева и на всей работе 18-го года диктатуры пролетариата.

Сердечно приветствую всех вас, товарищи.

Приветствие делегатам второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников. 1935 г.

★

Женщины — великая сила...

М. Горький.

Что дали женщине истёкшие десять лет?

На этот вопрос внушительно отвечает цифра II Съезда—620 тысяч делегатов. Это значит, что в Союзе Советов женщина становится совершенно равноправной мужчине, сознательной государственной единицей, политической силой. Она быстро учится управлять хозяйственной жизнью своей страны и постепенно начинает принимать участие в решении вопросов международной политики. Голоса делегаток, рабкорок, селькорок, избачек—это уже властные голоса жизни, действительно новой. Женщина Союза Советов умеет хорошо говорить о своих нуждах; она действительно ищет путей к раскрепощению своему от каторжной работы по домашнему хозяйству; она уже входит в жизнь как хозяйка всего Советского государства. Этого ещё нет нигде в мире.

О новом и старом. 1927 г.

...Видишь,-как растёт и углубляется активный интерес русского человека к своей стране и вообще, к миру, к науке, к литературе и ко всему, что есть жизнь. Показателен и количественный рост «изобретателей» в области техники и особенно любопытен тот факт, что в этой области начинают работать женщины. Кстати: «Нижегородский Астрономический календарь»—единственный в России, издающийся уже 39 лет—отметил работу двух женщин астрономов, Богуславскую и Ушакову, как «ловцов комет», указывая, что это «первый случай». Вообще быстрый рост общественной активности среди женщин—явление огромной важности, а особенно изумительна эта активность среди женщин-мусульманок.

Заметки читателя. 1927 г.

Для меня, человека, который начал жить в тяжёлое, тёмное время, великая радость—знать, что на смену нам, старикам,

родились вот такие разумные, хорошие люди, как Вы, Анна Агапкина, селькорка.

Когда получаешь дружеские письма от таких людей,—крепнет уверенность, что всё, что завоёвано крестьянством, рабочими—никакая сила не вырвет из их рук. Учитесь усердно, т. Анна, работайте над собой, не увлекайтесь дешёвеньким личным благополучием, готовьтесь к трудному делу править своим государством рабочих людей, старайтесь скорее уничтожить всё, что делает жизнь ещё тяжелей для людей. Знайте, что сделать её легче может только ваша сила, сила рабоче-крестьянской молодёжи, что вы и есть подлинные хозяева своей страны.

Письмо к А. Агапкиной. 27.III. 1929 г.

Факт массового вторжения женщины во все области труда, создающего культурные ценности, может и должен иметь глубочайшее значение уже потому, что, веками приученная к мелкой и точной работе, она окажется более полезной в тех производствах, которые требуют именно строгой точности и куда внесёт своё, тоже веками воспитанное в ней, стремление украшать.

Письма начинающим литераторам. 1930 г.

В этой, небывалой по размаху, работе организации первого в мире образцового государства,—женщины, участвуя вместе с мужчинами, уже показывают себя равными по разуму и способностям «сильному полу», показывают равными по качеству.

Работнице и крестьянке. 1933 г.

Запоздал я ответить на ваше хорошее письмо, Евфросинья Ивановна. Я ведь тоже вроде ткача, дни мои заняты ткаиьём из слов, так же как ваши ткаиьём из пряжи.

Очень хорошее письмо написали вы. Читая его, видишь, как умнеет сердце женщины, как она ещё недавно «все выносящего русского племени многострадальная мать» ныне в Союзе Сове-

тов становится хозяйкой своей страны, понимает мощное значение свободного труда и социалистической системы, преобразующей мир, видишь это и, конечно, радуешься. Радует и то, что женщины рабочего класса учатся рассказывать о своём каторжном прошлом и что у нас появляются такие нужные молодёжи книги, как, например, Алёны Новиковой, Агриппины Корсавцовой и Галины Грековой, которая девяти лет от роду уже работала батрачкой у богатеев, кубанских казаков, а теперь преподаёт философию в вузах. Знать прошлое—необходимо, без этого знания заплутаешься в жизни и можешь снова попасть в то грязное, кровавое болото, из которого вывело нас и поставило на широкий прямой путь к великому счастливому будущему мудрое учение Владимира Ильича Ленина.

Из письма к Е. И. Семёновой, ткачихе Трёхгорной мануфактуры. 1935 г.

★

...Впервые за всю жизнь человечества дети являются наследниками... действительной и могущественной ценности — социалистического государства, созданного трудом отцов и матерей.

М. Горький.

Наши дети живут в стране фантастических событий, мысль и воображение их почти непрерывно волнуются, возбуждаемые полётами в стратосферу, невероятными прыжками с высот при помощи парашюта, полётами на планёрах, эпопеей «челюскинцев», героизмом лётчиков, подвигами труда «знатных людей» и тому подобными явлениями, которые создаются освобождённой энергией их отцов. Произведённая в Ленинграде проверка даровитости детей является неоспоримым доказательством быстрого и счастливого развития «смены» комсомолу.

Мальчики и девочки. 1934 г.

Сердечный привет вам, будущие доктора, инженеры, танкисты, поэты, лётчики, педагоги, артисты, изобретатели, геологи!

Хорошее письмо прислали вы. Богато светится в простых и ясных словах его ваша бодрость и ясность сознания вами путей к высочайшей цели жизни, путей к цели, которую поставили перед вами и перед всем трудовым народом мира ваши отцы и деды. Едва ли где-нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях природы, в каких вы живёте, едва ли где-нибудь возможны дети, такие, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей земли столь же гордыми смельчаками...

...Через несколько лет, когда, воспитанные суровой природой, вы, железные комсомольцы, пойдёте на работу строительства и на дальнейшую учёбу, пред вами развернутся разнообразнейшие красоты великой нашей страны, увидите Алтай, Памир, Урал, Кавказ, поля пшеницы, размером в тысячи гектаров, гигантские фабрики, заводы, колоссальные электростанции, хлопковые плантации Средней Азии, виноградники Крыма, свекловичные поля, фабрики сахара, удивительные города: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Тифлис, Эривань, Ташкент, столицы маленьких братских республик, например, Чувашии, столицы, которые до революции очень мало отличались от простых сёл.

Письмо М. Горького к пионерам заполярного города Игарка. 1936 г.

В Москве, на школьном празднике 56-й школы 14-летний мальчик, а за ним девушка старше его не более, как на год, говорили речи, мальчик «о текущем моменте и задачах воспитания», девушка «о значении науки». Было ясно, что обе темы эти не только «заучены» ораторами, но вросли в сознание детей, ясно потому, что дети нарядили их в свои слова. Мальчуган, может быть, неожиданно для себя самого сказал неслыханные, поразившие меня слова:

— Наши друзья отцы и матери, наши товарищи!

Говорил он, как привычный оратор, свободно, с юмором, даже красиво; девочка говорила с большим напряжением чувства, тоже

своими словами, о борьбе знания с предрассудками и суевериями, о «богатырях науки».

Ну, эти двое—исключительно талантливы,—подумал я. А затем на различных собраниях я слышал не один десяток таких же ораторов-пионеров. Каждый из них входит в жизнь с лозунгом «Всегда готов». И в этой готовности продолжать освободительную работу своих отцов «друзей», работу строения новых форм жизни я слышал, конечно, неизмеримо больше и смысла и силы, чем в «Аннибаловых клятвах» добродушных юношей 50-х годов и в красноречии всех народолюбцев. Это уже не «милосердие» сверху, не гуманизм от ума, а творческая энергия из почвы, от корней жизни...

...Всё, что возбуждает мысль и воображение ребёнка, делается не какими-то неведомыми силами, а вот этой тяжёлой милой рукой, которая, сейчас, гладит голову своего октябрёнка или пионера. В школе ему, октябрёнку, понятно рассказывают о том, как просты все чудеса и как медленно, с каким трудом отцы научились делать их. Уже скучно слушать о «ковре-самолёте», когда в небе гудит аэроплан, и «сапоги-скороходы» не могут удивить, так же как не удивит ни плавание «Наутилуса» под водой, ни «Путешествие на Луну»,—дети знают, видят, что вся фантастика сказок воплощена отцами в действительность и что отцы совершенно серьёзно готовятся лететь на Луну. Отец может рассказать о героических битвах Красной Армии более интересно, чем бабушка или дед о подвигах сказочных богатырей, и может рассказать о своих подвигах партизана, в которых чудесного не меньше, чем в любой страшной сказке. Действительность развёртывается пред детьми не как сложнейшая путаница непонятных явлений, противоречивых фактов, а как наглядный процесс работы отцов, которые, разрушая отжившую действительность, создают новую, в которой дети будут жить ещё более свободно и легко.

По Союзу Советов. 1929 г.

«Всякое дело человеком ставится, человеком славится».

1

Чем дальше к морю, тем всё шире, спокойней Волга. Степной левый берег тает в лунном тумане, от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и красные, белые огоньки баканов особенно ярко горят на масляно-чёрных полотнищах теней. Поперёк и немного наискось реки легла, зыбится, сверкает широкая тропа, точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. Чёрный правый берег быстро уплывает вдаль, иногда на хребте его заметны редкие холмики домов, они похожи на степные могилы. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создаётся фантастическое впечатление: река течёт в гору. Расстилая по воде парчёвые отблески своих огней, теплоход скользит почти бесшумно, шумок за кормою мягко ласков и воздух тоже ласковый—гладит лицо, точно рука ребёнка.

На корме сдержанно беседуют человек десять бессонных людей. Особенно чётко слышен высокий, напористый голосок:

— А я скажу: человек со страха умира-ат...

В слове «умирает» он растянул звук «а» по-костромски. Ему возражают пренебрежительно, насмешливо, задорно:

— Смешно говорите, граждане.

— В боях не бывал.

Напоминают о тифе, голоде, о тяжести труда, сокращающей жизнь человека; усатый, окутанный парусиной, сидя плечо в плечо с толстой женщиной, сердито спрашивает:

— А старость?

Костромич молчит, ожидая конца возражений. Это—самый заметный пассажир. Он сел в Нижнем и едет четвёртые сутки. Большинство пассажиров проводит на пароходе дни своих отпусков, это всё советские служащие; они одеты чистенько, и среди них он обращает на себя внимание тем, что очень неказист, растрёпан, как-то весь измят, сильно прихрамывает на правую ногу и вообще—поломан. Ему, наверное, лет пятьдесят,

даже больше. Среднего роста, сухотелый, с коричневой жилистой шеей, с рыжеватой, полуседой бородкой на красном лице, из-под вздёрнутых бровей смотрят голубоватые глаза, смотрят этаким испытующим взглядом и как будто упрекают. Трудно догадаться—чем он живёт? Похож на мастерового, который был когда-то «хозяином». Руки у него беспокойные, он шевелит губами, как бы припоминая или высчитывая что-то; очень боек, но не весёлый.

Часа через два после того, как появился он на палубе теплохода, он обежал её, бесцеремонно разглядывая верхних пассажиров, и спросил матроса:

— С верхних-то сколько берут до Астрахани?

И через некоторое время его певучий голосок внятно выговаривал на нижней палубе:

— Конешно,—лёгкое наверх выплыва-ат, подыма-атся, тяжёлое—у земли живёт. Ну, теперь поставлено—правильно: за лёгкую жизнь плати вчетверо.

Нельзя сказать, что этот человек болтлив или что он добродушен, но ясно чувствуется, что он обеспокоен заботой рассказывать, объяснять людям всё, что он видел, видит, узнал и узнает. У него есть свои слова, видимо, они ему не дёшево стоят, и он торопится сказать их людям, может быть, для того, чтоб крепче убедиться в правде своих слов. Прихрамывая, он подходит к беседующим, минутку-две слушает молча и вдруг звонко говорит нечто не совсем обычное:

— Теперь, граждане, так пошло: ты—для меня, я—для тебя, дело у нас общее, моё к твоему пришито, твоё к моему. Мы с тобой, как—две штанины. Ты мне—не барин, я те—не слуга. Так ли?

Гражданин несколько ошарашен неожиданным вмешательством странного человека и смотрит на него очень неблагосклонно. Пожилая женщина, в красной повязке на голове, говорит, вздыхая:

— Так-то так, да туго это понимают.

— Не понимают это,—которые назад пятятся, вперёд задницей живут,—отвечает хромой, махнув рукою на тёмный берег,—теплоход поворачивал кормою к нему.

— Верно,—соглашается женщина и предлагает:—Присаживайся к нам, товарищ!

Он остался на ногах, и через две-три минуты высокий голос его чётко произнёс:

— Всякое дело людями ставится, людями и славится.

Прозвучало это, как поговорка, но поговорка, только что придуманная им и неожиданная для него.

Вот так он четвёртые сутки и поджигает разговоры, неутомимо добиваясь чего-то. И теперь, внимательно выслушав все возражения против его слов о том, что «человек умирает со страха», он говорит, предостерегающе подняв руку:

— Старики, конешно, от разрушения системы тела мруг, а некотора-а часть молодых—от своей резвости. Так ведь я—не про всех людей, я про господ говорил. Господа смерти боялись, как, например, малые ребята ночной темноты. Я господ довольно хорошо знаю: жили они—не весело, веселились—скушно...

— Откуда бы тебе знать это?—иронически спрашивает усатый человек.—На лакея ты не похож...

Молодой парень в шинели и шлеме резко спрашивает:

— Позвольте, гражданин! Причём тут обидное слово—лакей?

— Есть пословица: для лакея—нет... людей.

— Пословицы ваши оставьте при себе.

Присоединяется ещё один голос:

— Пословица ваша сочинена тогда, когда лакея за человека не считали...

— Довольно, граждане!

Хромой терпеливо ждёт, выбирая из коробки папиросу, потом говорит:

— Я тебе, гражданин, пословиц сколько хочешь насорю, ну—толку между нами от этого не много будет. Это ведь уже неверно, что «пословица век не сломится»...

Красноармеец перебивает его:

— На счёт страха—тоже неверно. Это теперь буржуазия смерти боится, а раньше...

— И раньше,—настойчиво говорит хромой, раскурив папиросу.—Я обстановку жизни изнутри знаю, в Питере полотёром был...

— Ну, если так,—проворчал усатый.

— Вот те и так! До тринадцати годов я, по сиротству, пастушонком был, а после крёстный батька прибыл в село да и похитил меня, как бирюк барашка. Четыре года я и выплясывал со щёточкой на ноге по квартирам, ресторанам, по публичным домам тоже. В Питере тогда особо роскошные бардачки были, куда тайно от мужьёв настоящие барыни приезжали, ну и мужья тоже тайно от них. Я все четыре года во дворе такого бардачка прожил, в подвале, стало быть, мог кое-что видеть...

Курил хромой торопливо, заглатывал дым глубоко, из-под его жёлтых растрёпанных усов дым летел так, точно человек этот загорелся изнутри и вот сейчас начнёт выдыхать уже не дым, а огонь.

— И в боях я во всяких бывал,—обратился он в сторону красноармейца.—Я, браток, повоевал так, как тебе, пожалуй, не придётся, да как я тебе и не желаю. Под Ляояном был, бежал оттуда так, что сапоги насквозь пропотели...

Кто-то засмеялся, толстая женщина спросила:

— Что же вы—гордитесь этим?

— Нет, зачем?—звонко ответил рассказчик.—У меня, для гордостей, другое есть, георгиевский кавалер, два креста получил, когда мотался на фронтах от Черновицы города до Риги даже. Там ранен два раза, в своей, за Советы—два, для гордостей—хватит!

— За что кресты получили?—спросил усатый.

— Один—за разведку и пулемёт захватил, другой—рота присудила,—быстро, но как будто неохотно ответил хромой; плюнув в ладони, он погасил окурок в слюне и, швырнув его за борт, помолчал.

Обнявшись, тихонько напевая, подошли две девицы. Одна сказала:

— Смотри—лодка, точно таракан...

— Огоньки на берегу,—задумчиво сказала другая, а красноармеец спросил что-то о пулемёте.

— Да—так это, случайно,—нехотя сказал хромой воин.—Послали нас, троих, в разведку, я—за старшего, ночь, конешно, австрияки не так далеко, шевелились они чего-то... Это ещё в

самом начале войны было. Ползём. Впереди, за кустами, кашлянул человек, оказалось—пулемётное гнёздышко, вроде секрет. Пятеро были там. Одного—взяли, он по-русски мог понимать, ветеринар оказался. Нашего одного тоже там оставили, потому что погоня началась, а он—раненый, а у нас пулемёт. Проступок этот сочли за храбрость, даже приказ по полку был читан.

— Ногу-то когда испортили?—спросил красноармеец.

— Это уже когда господина Деникина гнали,—очень оживлённо заговорил хромой.—Ногу я упрямством спас, доктор решил отрезать её. Я его уговариваю: оставь, заживёт. Он, конешно, торопится, вокруг его сотни людей плачут, он сам плакать готов, я бы, на его месте, топором руки, ноги рубил от жалости. Ну, поверил он мне, нога-то—вот!

— Герой, значит вы,—сказала одна из девиц.

— В гражданскую войну за Советы мы все герои были...

Усатый человек напомнил...

— Ну, не все, бывало, и бегали, как под Лаояном, и в плен сдавались...

— Когда бегали—не видал, а в плен сам сдавался,—быстро ответил рассказчик.—Сдаёшься, а после переведёшь десятка два-три на свой фронт. Переводили и больше.

— Вы—крестьянин?—спросила женщина.

— Все люди—из крестьян, как наука доказыва-ат...

Красноармеец спросил:

— В партии?

— На кой нужно ей эдаких-то? В партии ерши грамотные. А меня—недостача стеснила, грамоты не знал я почти до сорока лет. Читать, писать у безделья научился, когда раненый лежал. Товарищи застыдили: как же это ты, Заусайлов? Учись скорее, голова! Ну, выучили, маракую немножко. После жалели: кабы ты, голова, до революции грамоту знал, может, полезным командиром служил бы. А почём я знал, что революция будет? В ту революцию, после японской войны, я об одном думал: в деревню воротиться, в пастухи, а на место того попал в дисциплинарную роту, в Омск.

Красноармеец засмеялся, ему вторил ещё кто-то, а усатый человек поучительно сказал:

— В грамоте ты, брат, действительно слабоват, говоришь проступок, а надобно—поступок...

— Сойдёт и так,—отмахнулся от него солдат, снова доставая папиросу, а красноармеец подвинулся ближе к нему и спросил:

— За что в дисциплинарную роту?

— Четверых—за то, что не досмотрели арестованного, меня—за то, что не стрелял; он выскочил из вагона, бежит по путям, а я у паровоза на часах, ну вижу: идёт человек очень поспешно, так ведь тогда все поспешно ходили, великая суматоха была на всех станциях. На суде подпоручик Измайлов доказывает: я ему кричал—стреляй! Судья спрашивает: кричал? Так точно! Почему же ты не стрелял? Не видел—в кого надо. Ты, что ж—не узнал арестанта? Так точно, не узнал. Как же ты, говорит, ехал в одном вагоне с ним три станции конвоиром, а не узнал? Ты, говорит, напрасно притворяешься дураком. Ну, потом требовал: расстрелять. Однако никого не расстреляли...

Он засмеялся очень звонким, молодым смехом и сказал, качая головой:

— Суматошное время было!

— А ты, дядя, не плох,—похвалил красноармеец, хлопнув ладонью по его колену.—Чем теперь занимаешься?

— Пчелой. На опытной станции пчеловодством. Дело—любопытное, знаешь. Делу этому обучил меня в Тамбове старик один, сволочь был он, к слову сказать, ну, а в своём деле—Соломон-мудрец!

Заусайлов говорил всё более оживлённо и весело, как будто похвала красноармейца подбодрила его. Толстая женщина ушла, усатый сосед её сказал:

— Я сейчас приду.

Но тотчас встал и тоже ушёл, а на его место, на связку каната, присела девушка, которой лодка показалась похожей на таракана.

— С пчёлами он такое выделывал—в цирке не увидишь эдакого!—продолжал Заусайлов и причмокнул.—Сам он был насекомая вредная и достиг своей законной точки—шлёпнули его в двадцать первом за службу бандитам. Мне в этом деле пятый раз попало—голову проломили. Ну, это уж я не счи-

таю, потому—время было мирное, не война. Да и сам виноват: любопытен, разведку люблю; я и в нашей армии ловким считался на это дело.

— В нашей—в Красной?—тихонько спросила девушка.

— Ну, да. Другой армии у нас нету. Хотя и в той тоже. Там, конешно, по нужде, по приказу, а у нас по своей охоте.

Он замолчал, задумался. Вышла женщина с мальчиком лет семи-восьми, мальчик тощий, бледненький, видимо, больной.

— Не спит?—спросила девушка.

— Никак!

— Я к тебе хочу,—сердито заявил мальчуган, прижимаясь к девушке; она сказала:

— Садись, и слушай, вот человек интересно рассказывает.

— Этот?—спросил мальчик, указав на красноармейца.

— Другой.

Мальчик посмотрел на Заусайлова и разочарованно протянул:

— Ну-у... Он старый.

Красноармеец привлёк мальчугана к себе.

— Стар, да хорош, куда хошь пошлёшь,—отозвался Заусайлов, а красноармеец, посадив мальчика на колени себе, спросил:

— Как же ты, товарищ, к бандитам попал?

— А я их выяснил, потом—они меня. Суть дела такая: вижу я—похаживают на пчельник какие-то однородные люди, волчьей повадки, всё невесёлые такие. Я и говорю товарищам в городе: подозрительно, ребята! Ну, они мне—задание: доказывай, что сочувствуешь! Доказать это—легче лёгкого: народ тёмный, озлоблённый до глупости. Поумнее других коновал был, он и появлялся чаще. Он тоже из солдат, артиллерист, постарше меня лет на пятнадцать, двадцать. Практику с лошадями ему запретили, ну он и обиделся. К тому же—пьяница. В шайке этой он вроде штабного был, а кроме его ещё солдат ростовского полка, гренадер, замечательный гармонист.

Мальчуган прижался щекою к плечу красноармейца, задремал, а девушка, облокотясь о свои колени, сжав лицо ладонями, смотрела за борт, высоко подняв брови. Теплоход шёл близко к правому берегу, мимо лобастого холма, под холмом рассеяно

большое село: один порядок его домов заключён, как строчка в скобки, между двух церквей. С левого борта—мохнатая отмель, на ней—чёрный кустарник, и всё это быстро двигается назад, точно спрятаться хочет.

— Банда—небольшая, человек полсотни, что ли. Командовал чиновник какой-то, лесничий, кажись, так себе, сукин сын. Однако—недоверчивый. Ну вот, они трое приказывают мне, узнай то, узнай это. Товарищи говорят мне: что я могу знать, чего не могу. Действовали они рассеянно—десяток там, десяток в ином месте, людей наших бьют, школу сожгли, вообще живут разбоем. Задание у меня, чтоб они собрались в кулачок, а наши накрыли бы их всех сразу, всех, как птичек сетью. Сделана была для них заманочка... помнится—в Борисоглебском уезде на маслобойке, что ли. Поверили они мне, начали стягивать силы. Чорт его знает почему, старик догадался и вдруг явись, как злой дух, раньше, чем они успели собраться, однако—тридцать четыре сошлось. Начал он сеять смуту, дескать, надобно проверить, да погодить, да посмотреть. Вижу—развалит он всё дело, говорю нашим: берите, сколько есть. Они за спиной у меня были в небольшом числе. Тут меня ручкой револьвера по голове. Вот и вся недолга история!

— О, господи!—вздохнула женщина.—Когда всё это кончится.

— Когда прикончим, тогда и кончится,—задорно откликнулся рассказчик. Женщина махнула на него рукой и ушла.

— А ведь верно, вы в самом деле—герой,—весело и одобрительно сказал красноармеец. Мальчик встрепенулся, капризно спросил:

— Что ты кричишь?

— Извини, не буду,—отозвался красноармеец.—Строгий какой!.. Чужой вам?—спросил он девушку.

— Племянник,—ответила она.—Иди-ко спать, Саша.

— Не хочу. Там—храпит какой-то.

Он снова прижался к плечу красноармейца, а Зауфайлов вполголоса повторил:

— Саша...

И вздохнув, покачиваясь, потирая колени ладонями, заговорил тише, медленнее.

— Ты, товарищ, говоришь—герой. Слово, будто не подходящее нашему брату,—своё защища-ам, ну, ведь и бандиты, кулаки—своё. Верно?

Мальчик снова встрепенулся и громко, как бы с гордостью сказал:

— У меня отца кулаки убили. Я видел как. Мы приехали из города, папа вылез ворота отворять, а они на него напали пьяные, два, а я уже проснулся, закричал. Они его палками.

— Вот оно как,—сказал Заусайлов.

— Н-да,—угрюмо откликнулся красноармеец, а девушка сказала:

— В третьем году, а он—помнит.

— Я помню,—подтвердил мальчик, тряхнув головой.

— Расти он перестал после того,—продолжала девушка, вздыхая,—двенадцатый год ему.

— Вырасту,—хмуро пообещал мальчик. Заусайлов пошлёпал его по колену и посоветовал:

— Так и помни!

— Вот они, дела-то,—пробормотал красноармеец.—Учительница будете?

— Да. Мы обе, с его матерью.

— Сестра вам?

— Жена брата.

— Убитого?

— Да.

Все замолчали. Красноармеец, расстегнув шинель, прикрыл мальчика и прижал его к себе плотнее.

— Вот оно—геройство,—снова заговорил Заусайлов.—Оно у нас—везде, товарищ.

Щупая пальцами папиросы в коробке, он, не громко и не торопясь, заговорил:

— Я могу хвастануть,—знал героя. У нас в отряде парень был, тоже—Саша. Сашок звали его, туляк он, медная душа. Весёлый был и—куда хоть сунь, везде он на своём месте. Личностью маленько на тебя схож был, тоже крепыш и зубастенький, как хорёк. Ты—кавалерия?

— Да.

— То-то шинель длинна. И—аккуратен.

Закурив, он продолжал, снова оживляясь.

— Был он семинарист, Сашок, из недоучек, сказывал, что выгнали его за резвость. Однако—сильно образованный. Он меня и многих в безбожники обратил, мастак был на счёт религии, очень убедительный. Бога знал, как богатого соседа, и так доказывал, что бог жить мешает, что не хочешь, а—веришь. Н-ну, вот...

— Случилось так, что заскочил сгоряча наш отряд далеконько, за Курском это было. Деникина гнали. Вообще—перепуталась обстановка, непонятно: где—они, где наши. Товарищи говорят: ну-ка, Заусайлов, сходи, сообрази, кто у нас с левого бока? И—сколько? Возьми себе, по вкусу, одного, двух парней. Это, конешно, так и надо по моей безграмотности. Взял я Сашка и Василия Климова, осанистый был мужчина, вроде старшего дворника,—в Питере в царёвы годы бывали такие дворники: он, сукин сын, дворник, а осанка—церковного старосты.

— Ну, пошли. Места—незнакомые. Держимся линии железной дороги. Сашок с Климовым по одну сторону насыпи, я—по другую, впереди шагов на сто. Дорога, конешно, раскарябана. Вечер—лунный, ветерок гуля-ат, облаки бегут, тени ползут, там—тень, тут—тень, да сразу—бом: «Стой!» кричат. Вижу—пятеро. Они, хоть и белые, а в один цвет с землёй и в кустах, около насыпи, неприметны. Командирчик—молодой, ещё и до усов не дорос, револверчик в руке, шашечка на боку, винтовочка коротенька за плечом,—вооружён, как для портрета фотографии. Нацелился мне в глаз, допрашивает, покрикивает: я, конечно, вроде как испугался, тоже во весь голос кричу, чтоб Сашок с Климовым слышали, дескать—бегу от красных, боюсь—мобилизуют. Он как будто верить начал, а солдатик один и подскажи ему: ваше благородие—выправка у него подозрительная, наверно,—солдат ихний разведчик! Ах, ты, думаю, сучкин сын! Ну, побили меня немножко, отрядил он со мной двоих, повёл меня куда надо. Идём тихонько, и дождичек пошёл. Начал было я балагурить с конвоем, вижу: ничего не выходит, сердятся они, видно, устали. Решил молчать, а то, пожалуй, пришибут, черти.

— Долго ли, коротко ли, дошли в село, большое село и пострадавшее: горело в двух местах, некоторые избы артиллерисм побиты. У церковной ограды, под деревами коновязь, семнадцать лошадей—все дрянцо. Поодаль, на дереве два уже висят. Ну, думаю, ежели не убегу,—тут и останусь. Темновато, огней в окнах почти нет, время—за полночь, спит белое вонйство. Человек пяток на паперти прячутся от дождя. Привели меня к школе, а напротив её—хороший дом, два этажа, только крыша разбита. Там—шумят и огонь есть. Один конвойный пошёл туда, другой сел на крылечко школы, я, конешно, стою на дождике, тут—не побежишь.

— Вышел другой конвойный,—говорит: до утра велено оставить. Это—меня, значит. Потолковали они, куда меня запереть, повели недалеко от школы, затолкали в избу, в ней уже совсем ни зги не видно, окна заколочены. Солдат спичку зажёг,—вижу я: пол разворочен, угол разбит, верхние венцы завалились внутрь, в углу—тряпьё, похоже, что убитый лежит. Дождичек проникает в избу. Солдат оглядел всё, вышел в сени, дверь не закрыл. Это—плохо, что не закрыл, а вылезти отсюда—пустяки, думаю. Сижу. Тихо, только лошади сопят, пофыркивают, дождик шуршит, людей не слышно. Солдат в сенях повозился и тоже засопел, потом слышу—храпит.

— Счёта времени я, конешно, не вёл, часов помнить не могу, сижу, не смыкая глаз, и как страшный сон вижу. Душа скучает и—совестно, вот как влопался! Зажёг осторожненько спичку, поглядел,—брёвна так висят, что снаружи влезть в избу, пожалуй, можно, а вот, из избы-то едва ли вылезешь. Встал, попробовал—качаются.

— И тут меня точно кипятком ошпарило, слышу шопот: «Заусайлов!» Это—Сашок, это—он! «Вылезай»,—шепчет. Отвечаю: никак нельзя, а в сенях—солдат. Замолчал он, потом слышу, царапает, брёвна поскрипывают. И только что, на счастье своё, отодвинулся к печке,—заскрежетало, завалились брёвна в избу. Ну, теперь—оба пропали.

— Солдат, конешно, проснулся, кричит: что ты там? Отвечаю: не моя вина, угол обвалился! Ну, ему, конешно, наплевать, был бы арестованный жив до казённого срока. Пожалел,

что не задавило меня. Стало опять тихо, и слышу, близко от меня—дыханье, пощупал рукой—голова. «Сашок,—шепчу,—как это ты, зачем?» Он объясняет: мы, говорит, всё слышали. Климова я назад послал, а сам следом за тобой пошёл. Главная, говорит, сила их не здесь; а верстах в четырёх,—он уже всё досконально разузнал. Они, говорит, думают, что у них в тылу и справа—наши. Рассказывает он, а сам зубами поскрипывает и будто задыхается. Мне, говорит, бок оцарапало, сильно кровь идёт и ногу придавило. Пощупал я—действительно, нога завалена, стал шевелить бревно, а он шепчет: не тронь, закричу, пропадёшь! Уходи, говорит, всё ли помнишь, что я сказал? Уходи, скорей! Нет, думаю, как я его оставлю? И опять шевелю бревно-то, а он мне шипит: «Брось, чорт, дурак! Закричу!» Что делать? Я ещё разок попробовал, может, освобожу ногу-то... Ну, хочешь—веришь, товарищ, хочешь не веришь—слышал я, хрустнула косточка, прямо знаешь... хрустнула! Да. Раздавил я её значит... А он простонал тихонько и замер. Обмер.

— Ну, думаю, теперь—прости, прощай, Сашок.

Заусайлов наклонил голову, щупал пальцами папиросы в коробке, должно быть, искал, которая потуже набита. Не поднимая головы, он продолжал потише и не очень охотно:

— За ночь к нам товарищи подошли, а вечером мы припёрли белых к оврагу, там и был конец делу. Мы с Климовым и ещё десяточек наших первыми попали в это несчастное село. Ну, опять пожар там. А Сашок—висит на том самом дереве, где до него другой висел, тоже молодой, его сняли, бросили в лужу, в грязь. А Сашок—голый, только одна штанина подштанников на нём. Избит весь, лица—нет. Бок распорот. Руки—по швам, голова вниз и набок. Вроде, как виноватый. А виноватый я...

— Это—не выходит,—пробормотал красноармеец.—Оба вы, товарищ, исполнили долг как надо.

Заусайлов раскурил папиросу и, прикрыв ладонью спичку, не гасил её огонёк до той секунды, когда он приблизился к пальцам. Дунув на него, он раздавил пальцами красный уголь и сказал:

— Вот герой-то был.

— Да-а,—тихо отозвалась учительница и спросила:

— Уснул?

— Спит,—ответил красноармеец, заглянув в лицо мальчугана и, помолчав, веско заговорил:

— У нас героя не перевелись. Вот, скажем, погрохрана в Средней Азии—парни ведут себя на ять! Был такой случай: двое бойцов отправились с поста в степь, а ночь была тёмная. Разошлись они в разные стороны, и один наткнулся на басмачей, схватили они его, и оборониться не успел. Тогда он кричит товарищу: стреляй на мой голос. Тот мигом использовал пачку, одного басмача подранил, другие—разбежались, даже и винтовку отнятую бросил. А в это время—другого басмачи взяли, он кричит: делай, как я! Он ещё и винтовку зарядить не успел, прикладом отбивается. Тогда—первый начал садить в голос пулю за пулей и тоже положил одного. Воротились на пост—рассказывают, а им не верят. Утром проверили по крови—факт! А ведь на голос стрелять—значило, по товарищу стрелять. Понятно?

— Как же не понятно,—сказал Заусайлов.—Ничего, помаленьку понимаем свою задачу. Из отпуска, товарищ?

— Из командировки.

Учительница встала.

— Спасибо вам. Надо разбудить Саньку.

— Зачем? Я его так снесу,—сказал красноармеец.

Они ушли. Заусайлов тоже поднялся, подошёл к борту, швырнул в реку папиросу.

Серебряный шар луны вкатился высоко в небо, тени правого берега стали короче, и весь он как будто ещё быстрее уплывал в мутную даль...

1930 г.

НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

То, что сделано соввластью для «бесписьменных»—«немых», как Вы правильно сказали,—народов, даст в недалёком будущем, конечно, прекрасные результаты, ибо, оценив значение грамотности на своём племенном языке, они неизбежно оценят и значение русского языка, а это также неизбежно вовлечёт их в общее и всё более расширяющееся русло русской культуры, которой суждено быть социалистической культурой, как бы ни были велики силы, этому препятствующие.

Письмо к П. Когану. [*до 1928 г.*]

У меня осталось самое прекрасное впечатление от поездки в Эривань и от объезда Армении. Армения—страна с большим будущим. Много полезных ископаемых, на которые теперь обратили серьёзное внимание. Народ Армении производит впечатление энергичного народа, который, без сомнения, знает, что он делает, какие задачи ему предстоит решить...

1928 г.

Для рабоче-крестьянской власти нет и не может быть «ни эллина, ни иудея», для неё нет «инородцев», есть только трудовой народ, единственная сила, достойная обладать всею полнотой власти, единственная сила, которая органически неспо-

собна употреблять свою власть во зло иноплеменным трудящимся массам. Она ставит перед собою великую цель объединения всего трудового мира в одну дружную рабочую семью. Только эта сила способна осуществить мечту лучших людей всех племён и народов,—политическое равенство, экономическую справедливость и свободу деятельности «духа»—мысли.

Процесс объединения всех разноплеменных рабочих начат и развивается по фабрикам, заводам, на полях и всюду, во всех областях труда. Но этот процесс пойдёт быстрей, успешней, когда художественное слово, изображая «дух» народа,—бытовые и национальные особенности племён, вызванные к жизни многовековой, тяжкой историей,—покажет нам друг друга «изнутри» во весь рост. В наше время всестороннего, критического пересмотра всей «старины», время борьбы с навязанным нам и невольно принятым нами наследством «старого мира»—художественная литература приобретает особенно глубокое, социально-воспитательное значение. Хорошо знать друг друга теперь нам необходимо более чем когда-либо раньше, потому что, повторим, все мы идём к одной цели, призваны делать одно и то же дело.

Литературное творчество народов СССР. 1928 г.

...Свободно и быстро развиваются национальные культуры даже маленьких поволжских племён, которые лишь несколько лет тому назад получили письменность, а сегодня уже издают газеты и книги на своих родных языках, организуют нацмузеи, консерватории. Вот предо мной сборник «1000 казакских-киргизских песен»; они положены на ноты, оригинальнейшие их мелодии—богатый материал для Моцартов, Бетховенов, Шопенов, Мусоргских и Григов будущего. Отовсюду—от зырян, бурят, чуваш, марийцев и т. д.—для гениальных музыкантов будущего льются ручьи поразительных красивых мелодий.

По Союзу Советов. 1929 г.

В Союзе Советов с удивительной быстротой развивается процесс культурного возрождения рабоче-крестьянской массы, крайне пёстрой по своему национальному составу. Невозможно было ожидать, что процесс этот пойдёт так быстро и успешно, что даже кочевые племена средне-азиатских степей свободно и охотно вольются в этот грандиозный процесс.

По поводу одной легенды. 1931 г.

Башкирия и Узбекистан, глухая тайга Сибири и Карелия, Молдавия и Чувашия—все в один голос радостно и гордо заявляют: воскресли к новой жизни, встали на ноги, работаем, понимаем глубокий смысл нашей работы, да здравствует партия, наш вождь!

О действительности. 1931 г.

Горячо поздравляю рабочих и крестьян советской Грузии с десятилетием мужественного, плодотворного труда в области промышленности и культуры! Прекрасный праздник, на котором мне хотелось бы присутствовать скромным зрителем и ещё раз вспомнить Грузию, какой видел я её сорок лет тому назад, вспомнить Тифлис, город, где я начал литературную работу.

Я никогда не забываю, что именно в этом городе сделан мною первый неуверенный шаг по тому пути, которым я иду вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величественная природа страны и романтическая мягкость её народа,—именно эти две силы дали мне толчок, который сделал из бродяги—литератора.

Подозреваю, что моё лирическое выступление едва ли уместно на празднике трудового народа Грузии в те дни, когда народ этот грозно заявляет пред лицом врагов его о своей творческой энергии, о своих достижениях, о своей готовности продолжать начатое им великое дело культурной революции. Но, товарищи, разрешая себе немножко лирики, я хотел этим сказать несколько слов о моей неиссякаемой симпатии к вам и стране вашей.

«Заре Востока». 1931 г.

Не находя в лексиконе моём достаточно сильных и ярких слов благодарности, отвечаю Белорусской Академии наук почтительным молчаливым поклоном. Помимо отношения лично ко мне, факт избрания моего имеет, на мой взгляд, иное, более широкое значение. Белорусская Академия наук служит центром единения белорусской, польской и еврейской, а также литовской и латышской пролетарских культур, которые в развитии своём опираются на достижения братской культуры русской и других национальностей Союза Советских Социалистических Республик. Смыслом работы своей Белорусская Академия наук показывает правильность ленинской национальной политики нашей партии, фактом включения в свою среду одного из работников культуры СССР доказывается наличие процесса культурного объединения всех национальностей Союза Социалистических республик.

Письмо Белорусской Академии наук в связи с избранием почётным членом Академии. 1932 г.

Горячий привет Федерации закавказских народностей! Среди гор, ущелий, пропастей трудно людям проводить дороги. А всё же люди научились делать это. Ещё труднее преодолевать старину, которая веками внушалась людям, для того чтобы враждебно разъединить их, но федерация показывает миру, что нет таких пропастей, через которые народы не могли бы перешагнуть навстречу друг другу для того, чтобы сомкнуться в единую семью борцов против старины, в армию строителей нового социалистического мира. Бессмертен наш великий учитель Ленин! Да здравствует на долгие годы верный, непоколебимый ученик его Сталин! Да здравствуют все передовые работники культурной революции, чья энергия изменяет лицо мира, делая старое, звериное истинно человеческим и молодым, как весна.

Приветствие по случаю десятой годовщины Закавказской федерации. 1932 г.

Этот пролетариат, воспитанный идеологией Маркса—Ленина, реально и мудро осуществляемой вождём его Сталиным, этот пролетариат доказал миру, что в его пёстроплеменной стране все племена и расы совершенно равны в правах на жизнь, на труд, на развитие своих культур.

«Пролетарский гуманизм». 1934 г.

...В Союзе Советских Социалистических Республик быстро развивается прекрасное дело объединения всех народов, всех племён, всех людей в единую могучую силу.

Письмо редактору чувашской газеты «Пионерский голос». 1935 г.

ОБ ИСКУССТВЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

...За ничтожное время—10 лет—духовные силы рабочего народа широко развернулись, ...рабочие дали стране сотни писателей, поэтов, живописцев, изобретателей, политических работников, ...из мастеровых—люди становятся удивительными художниками, как, например, иконописцы—«богомазы»—села Палеха...

Письмо к Е. Хлебцевичу 24 февраля 1926 г.

Я не буду говорить об успехах советского искусства, достигнутых за этот короткий срок нашей литературой, нашей кинематографией, нашей музыкой. Кстати: мы мало ценим те успехи, которые сделала музыка за это время...

Кинематография, несомненно, за последние годы достигла всеми справедливо признанного успеха. У нас есть «Чапаев». Недавно я видел удивительный фильм—«Граница», пожалуй, столь же красивый фильм, столь же мощный и столь же насыщенный, как «Чапаев».

Есть ещё много кинематографических вещей, достойных похвал...

Речь на совещании писателей, композиторов, художников и кинорежиссеров 10 апреля 1935 г.

Наша кинематография становится всё более и более мощной силой, которая имеет большее значение, чем театр, хотя бы в том смысле, что привлекает к себе большее количество зрителей.

Выступление на встрече с писателями, драматургами, киноработниками. 1935 г.

Горячо поздравляю с прекрасными победами. Уверен, что чем дальше, тем более успешно будет развиваться ваша работа. Культурное значение её в таких образцах, как «Гроза», «Пышка», «Чапаев»,—огромно.

[Приветствие советской кинематографии]. 1935 г

В области искусства наиболее энергично заявили о своей готовности взяться за широкое строительство, создать советское зодчество—архитектора. Слушая музыку наших всесоюзных молодых композиторов, чувствуешь, что их тоже заражает эта небывало бурная энергия.

Литературные забавы. 1935 г.

Следя весьма внимательно за текущей литературой на Руси, искренно восхищаясь обилием даровитой молодёжи, я крепко радуюсь, что у нас растут и вырастут в этой области большие таланты.

Письмо к В. Я. Шишкову. Декабрь 1925 г.

...За эти шесть лет мы создали литературу, которой можем похвастаться перед Европой. Написали целый ряд прекрасных книг и каждый год даём два-три талантливых романа. Вот, например, «Тихий Дон» Шолохова...

Беседа с корреспондентами тбилисских газет. 27 июля 1928 г.

...В лице Сергеева-Ценского русская литература имеет одного из блестящих продолжателей колоссальной работы её классиков—Толстого, Гоголя, Достоевского, Лескова. Типично рус-

ское в книгах Сергеева-Ценского, так же как у названных мною авторов, не скрывает «общечеловеческого»—трагических противоречий нашей жизни.

Предисловие к переводу романа С. Н. Сергеева-Ценского «Преображение» на мадьярский язык. (1928 г.)

...За это десятилетие у нас выросла литература, которой Запад всё больше и больше увлекается и переводит таких литераторов, которых я, например, не знаю, совершенно не читал. Это доказательство извне, но есть доказательство и внутри. Вы сидите здесь и в таком количестве, что одно это уже весьма значительно. Вообще мне кажется, что за всю историю человечества не было эпохи, когда в течение такого ничтожного отрезка, как десятилетие, вдруг хлынула бы в жизнь столь мощная волна пишущих книги, критикующих, изобретающих людей, которые вчера были кочегарами, пастухами, а сегодня уже пишут. Мне кажется, нет ни одного ремесла, которое бы не выдвинуло от себя делегата в литературу. Имейте в виду, что мы действительно начинаем строить свою большую литературу. Это, может быть, покажется дерзким многим из вас, но тем не менее я скажу, что мы строим литературу, которая уже почти не уступает работам людей моего поколения. Можно насчитать ещё пятнадцать-двадцать книг, которые останутся надолго. Это факт, они написаны, они живут и становятся рядом с произведениями крупнейших писателей.

Творится огромное дело, великое дело.

Речь на первом Всероссийском съезде крестьянских писателей. 1930 г., июнь.

...Литература объединяет все племена Союза Советов не только силой своей революционной идеологии, но и своим активным товарищеским стремлением понять человека «изнутри», изучить и осветить его древний быт, вековые навыки его. Иными

словами, молодая литература наша энергично служит делу объединения всего трудового народа в единую культурно-революционную силу...

Незаметно, между прочим, у нас создан подлинный и высокохудожественный исторический роман. В прошлом, в старой литературе—слащавые, лубочные сочинения Загоскина, Масальского, Лажечникова, А. К. Толстого, Всеволода Соловьева и ещё какое-что, столь же мало ценное и мало историческое. В настоящем—превосходный роман А. Н. Толстого «Пётр I», шелками вытканный «Разин Степан» Чапыгина, талантливая «Повесть о Болотникове» Георгия Шторма, два отличных, мастерских романа Юрия Тынянова—«Кюхля» и «Смерть Вазир Мухтара» и ещё несколько весьма значительных книг из эпохи Николая I. Всё это поучительные, искусно написанные картины прошлого и решительная переоценка его. Я не знаю в прошлом десятилетия, которое вызвало бы к жизни столько ценных книг. Повторяю ещё раз: создан исторический роман, какого не было в литературе дореволюционной, и молодые наши художники слова получили хорошие образцы, на которых можно учиться писать о прошлом, не столь далёком, как далека эпоха Петра I, но очень похожем на неё—я говорю о вчерашнем дне. Вообще у нас в области литературы очень много нового и ценного, но неоценённого по достоинству...

Леонид Леонов—автор книги «Вор», построение, «архитектонику» которой со временем будут серьёзно изучать—Л. Леонов написал книгу «Соть», взяв для неё материалом именно текущую действительность. И—представьте!—получилось именно «подлинное творчество», замечательная вещь, написанная вкуснейшим, крепким, ясным русским языком, именно—ясным, слова у Леонова светятся. А действительность он знает, как будто сам её делал. Он, Леонов, очень талантлив, талантлив на всю жизнь и—для больших дел. И он хорошо понимает, что действительность надобно знать именно так, как будто сам её делал.

О литературе. 1931 г.

Молодая литература наша с каждым годом всё более могуче и быстро расширяет поле своего зрения. Никогда ещё искусство слова не служило так усердно и так успешно делу познания жизни. Это особенно хорошо видишь на «очерках».

Очерк всегда считался критиками низшей формой литературы, что вообще неверно и несправедливо. Вспомним хотя бы только двух мастеров очерка, совершенно не сродных по характеру талантов и мироощущений: Глеба Успенского и Гюи де-Мопассана. Может быть, следует указать, что «Записки охотника» И. С. Тургенева по форме своей не что иное, как очерки, что этой формой не брезговали: Салтыков-Щедрин, Писемский, Лесков, Слепцов, Помяловский, Короленко и целый ряд очень крупных, весьма прославленных литераторов.

Молодая наша литература выдвинула из своей среды группу талантливых «очеркистов», и они постепенно придают очерку формы «высокого искусства». «Туркменские записи» талантливейшего поэта и прозаика Н. Тихонова—это очерк и подлинное искусство изображения жизни словом...

Широкий поток очерков—явление, какого ещё не было в нашей литературе. Никогда и нигде важнейшее дело познания своей страны не развивалось так быстро и в такой удачной форме, как это совершается у нас. «Очеркисты» рассказывают многомиллионному читателю обо всём, что создаётся его энергией на всём огромном пространстве Союза Советов, на всех точках приложения творческой энергии рабочего класса.

О литературе. 1931 г.

Литература пролетариата всех племен Союза Социалистических Советов ставит перед собою крайне трудную задачу создать приёмами реализма эпическое искусство, в котором отразился бы со всей возможною силою слова и полнотою героизм рабочего класса, строителя нового общества,—героизм индустриального вооружения страны и борьбы против всех и всяческих пережитков прошлого, которое особенно глубоко и крепко вросло в русскую деревню.

Лучшие, наиболее талантливые работники литературы пролетариата правильно понимают, что эпос реалистичен и что реализм отнюдь не стесняет воображения...

Само собою разумеется, что советская литература создаёт свою эстетику на основах эпического героизма трудовых процессов и основах классовой борьбы, а после победы в этой борьбе—основанием эстетики послужит борьба с природой. Обилие талантов, выдвигаемых массой во все области—труда и творчества,—изумляет и радует.

Равнодушие не должно иметь места. 1932 г.

...Литература есть дело, а в нашей стране, в наших условиях—даже великое дело.

О кочке и точке. 1933 г.

Социалистический реализм в литературе может явиться только как отражение данных трудовой практикой фактов социалистического творчества. Может ли явиться такой реализм в нашей литературе? Не только может, но и должен, ибо факты революционно-социалистического творчества у нас уже есть и количество их быстро растёт. Мы живём и работаем в стране, где подвиги «славы, чести, геройства» становятся фактами настолько обычными, что многие из них уже не отмечаются даже прессой.

Беседа с молодыми. 1934 г.

О завоеваниях литературы нашей я уже говорил полным голосом и с великой радостью в 1930 году, в статье, напечатанной в книге «О литературе» (стр. 52—54), и во многих других статьях этой книги. С той поры прошло четыре года напряжённой работы. Даёт ли эта работа мне право повысить оценку достижений нашей литературы? Право это мне даёт высокая оценка многих книг основным нашим читателем—рабо-

чим и колхозником. Вам известны эти книги, а потому я не буду называть их, скажу только, что у нас уже есть солидная группа живописцев словом,—группа, которую мы можем признать «ведущей» в процессе развития художественной литературы.

Эта группа объединяет наиболее талантливых партийцев-литераторов с беспартийными, и последние становятся «советскими» не на словах, а на деле, усваивая всё более глубоко общий и общечеловеческий смысл героической работы партии и рабоче-крестьянской, советской власти. Не надо забывать, что русской буржуазной литературе потребовалось—считая с конца XVIII века—почти сто лет для того, чтоб властно войти в жизнь и оказать на неё известное влияние. Советская революционная литература достигла этого влияния за пятнадцать лет.

Доклад на съезде советских писателей. 1934 г.

Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом—гигант Пушкин, отсюда ещё не значит, что армяне, грузины, татары, украинцы и прочие племена не способны дать величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества. Не следует забывать, что на всём пространстве Союза социалистических республик быстро развивается процесс возрождения всей массы трудового народа «к жизни честной—человеческой», к свободному творчеству новой истории, к творчеству социалистической культуры. Мы уже видим, что чем дальше вперёд, тем более мощно этот процесс выявляет скрытые в 170-миллионной массе способности и таланты.

Доклад на съезде советских писателей. 1934 г.

В республиках народов, братских нам, писатели рождаются от пролетариата, а на примере нашей страны мы видим, ка-

ких талантливых детей создал пролетариат в краткий срок и как непрерывно он создаёт их. Но я обращаюсь с дружеским советом, который можно понять и как просьбу, к представителям национальностей Кавказа и Средней Азии. На меня, и— я знаю—не только на меня, произвёл потрясающее впечатление ашуг Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая свои стихи, затем он, Гомер XX века, изумительно прочёл их (Аплодисменты).

Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создаёт Сулейман. Повторяю: начало искусства слова—в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нём, обрабатывайте его. Он очень много даёт материала и вам, и нам, поэтам и прозаикам Союза.

Заключительная речь на съезде советских писателей 1 сентября 1934 г.

Вперёд и выше—это путь для нас, товарищи, это путь, единственно достойный людей нашей страны, нашей эпохи. Что значит выше? Это значит: надо встать выше мелких личных дрязг, выше самолюбий, выше борьбы за первое место, выше желания командовать другими,—выше всего, что унаследовано нами от пошлости и глупости прошлого. Мы включены в огромное дело, дело мирового значения, и должны быть лично достойны принять участие в нём. Мы вступаем в эпоху, полную величайшего трагизма, и мы должны готовиться, учиться преображать этот трагизм в тех совершенных формах, как умели изображать его древние трагики. Нам нельзя ни на минуту забывать, что о нас думает, слушая нас, весь мир трудового народа, что мы работаем пред читателем и зрителем, какого ещё не было за всю историю человечества. Я призываю вас, товарищи, учиться—учиться думать, работать, учиться уважать и ценить друг друга, как ценят друг друга бойцы на полях битвы...

Дорогие товарищи!

Пред нами огромная, разнообразная работа на благо нашей родины, которую мы создаём как родину пролетариата всех стран.

За работу, товарищи!

Дружно, стройно, пламенно—за работу!

Да здравствует дружеское, крепкое единение работников и бойцов словом, да здравствует всесоюзная красная армия литераторов!

И да здравствует всесоюзный пролетариат, наш читатель,—читатель-друг, которого так страстно ждали честные литераторы России XIX века и который явился, любовно окружает нас и учит работать!

Да здравствует партия Ленина—вождь пролетариата, да здравствует вождь партии Иосиф Сталин! (Овация. Все встают и поют «Интернационал».)

Заключительная речь на съезде советских писателей. 1934 г.

Основная тема всесоюзной литературы—показать, как отвращение к нищете перерождается в отвращение к собственности. В этой теме скрыто бесконечное разнообразие всех иных тем подлинно революционной литературы, в ней заключён материал для создания «положительного» типа человека-героя, в ней заключена вся «историческая правда» эпохи, а таковой правдой является революционная целесообразность энергии пролетариата,—энергии, направленной на изменение мира в интересах свободного развития творческих сил трудового народа.

Литературные забавы. 1935 г.

...Никогда и нигде ещё литература не ценилась так высоко, как ценят её в Союзе Советов, никогда ещё историческая, культурная роль искусства не понималась так ясно.

О формализме. 1936 г.

Огромная и ответственейшая роль назначена историей литературе нашей, великая честь способствовать росту её и движению к чудесной цели, чего от неё требует народ страны нашей, народ героев.

Из письма к А. П. Чапыгину.
[1935 г.]

О НЕНАВИСТИ К ВРАГАМ РОДИНЫ

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить.

В. И. Ленин. 1931 г.

... Против нас всё, что отжило сроки, отведённые ему историей, и это даёт нам право считать себя всё ещё в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдаётся,—его уничтожают.

Если враг не сдаётся — его уничтожают. 1930 г.

Разоблачение фашистских поджигателей,—мне нечего Вам об этом писать,—сейчас крайне важное дело.

Письмо в редакцию «Правды» 23 мая 1936 г.

Надобно так же серьёзно подумать о необходимости создания «оборонной» литературы, ибо фашизм усердно точит зубы и когти против нас, и поголовное истребление абиссинцев фашистами Италии немецкие фашисты, конечно, оценивают, как «пробу меча», который они, как известно, предполагают употребить именно для истребления пролетариев и колхозников Союза Советов.

О формализме. 1936 г.

Но солдатские идеи несомненно существуют и в наши дни усиленно пропагандируются в форме фашизма. Это—не новые

идеи, истоки их можно проследить в книгах немецких писателей, например, у знаменитого немецкого историка Генриха Трейчке, а философско-художественное оформление этих идей дал Фридрих Ницше в его образе «белокурой бестии». Проводником этих идей является Бенито Муссолини. В статье, написанной им для «Итальянской энциклопедии», он пользуется всеми установками душевнобольного Ницше, его проповедью «любви к дальнему», презрительно отрицает идею братства народов и социального равенства человеческих единиц, отрицает, конечно, и право большинства на власть.

О «солдатских идеях». 1932 г.

Корреспондент мой не совсем правильно указывает, что «фашизм не содержит в себе ясно выраженных идей. Нет, у «кобылки»[1] есть идеи достаточно определённые, например зоологический национализм, затем антисемитизм, этот «социализм для дураков», как сказано Бебелем.

Кроме того, недавно один из вождей немецких фашистов выдвинул ещё одну тоже весьма определённую идею; он сказал: «В Германии надобно вырезать по меньшей мере 10 тысяч наиболее крупных коммунистов». Солидная идея, вполне достойная настоящего каторжника, и мне кажется, что я ещё доживу до дня, когда этот лавочник попадёт на каторгу.

О книге Н. Вагнера «Человек бежит по снегу». 1932 г.

Не десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном, разлагающем влиянии фашизма на молодёжь Европы.

Пролетарский гуманизм. 1934 г.

Появилась как «новое учение» дикая теория «расизма»—постыднейшая и бездарная выдумка старчески разжиженного, неизлечимо загнившего мозга.

«Горы и люди». 1935 г.

---

[1] «Кобылка» — мелкие уголовники, обитатели тюрем и каторги.

Итальянский фашизм устанавливает рекорды бесчеловечья, разрушая бомбами лазареты Красного креста, добивая раненых, уничтожая медицинский персонал, отравляя мирное население газами, отравляя ядом скот, землю, воду, растительность. Фашизм немецкий усердно готовится к такой же радикальной деятельности...

О формализме. 1936 г.

Казалось бы, что чувство собственного достоинства мастеров культуры, «гуманистов», должно быть глубоко возмущено фактами отрицания культуры лавочниками, их походом против роста всякой техники, кроме военной, назначенной истреблять людей. Но незаметно, чтобы мастера буржуазной культуры возмущались сожжением книг, неугодных фашизму, проповедью человеконенавистничества, заключённого в смыслах национальной и расовой теории, подготовкой к новой яростной войне,—к бессмысленному истреблению миллионов наиболее здоровых людей, к новому истреблению огнём вековых культурных ценностей, к разрушению городов, уничтожению результатов тяжкого труда масс, которые создали фабрики и заводы, обработали поля, построили мосты, дороги. Безумие хищников невозможно излечить красноречием, тигры и гиены не едят пирожное.

Пролетарский гуманизм. 1934 г.

I

Домашняя кошка играет пойманною мышью, потому что этого требуют мускулы зверя, охотника за мелкими быстрыми зверьми, эта игра—тренировка тела. Фашист, сбивающий ударом ноги в подбородок рабочего голову его с позвонков,—это уже не зверь, а что-то несравнимо хуже зверя, это—безумное животное, подлежащее уничтожению...

Доклад на съезде советских писателей. 1934 г.

... [Фашисты] может быть, тоже ещё люди, но в результате длительного, распространённого на ряд поколений, пивного опья-

пения—люди одичавшие и требующие строгой изоляции или же ещё более решительной меры пресечения их омерзительных кровавых преступлений.

О культурах. 1935 г.

...Фашизм—отрицание культуры, проповедь войны, крик обессилевшего о желании быть сильным...

Имеем ли мы право ненавидеть этих одичавших, неизлечимых дегенератов—выродков человечества, эту безответственную международную шайку явных преступников, которые, наверное, попробуют натравить свой «народ» и на государство строящегося социализма?

Подлинный, искренний революционер Советских Социалистических Республик не может не носить в себе сознательной, активной, героической ненависти к подлому врагу своему. Наше право на ненависть к нему достаточно хорошо обосновано и оправдано.

Пролетарская ненависть. 1935 г.

...Фашизм, практикуя террор, организует в массах ненависть к нему,—ненависть организует массы на неоспоримо справедливую месть врагу. Враг осуждён и погибнет тем скорей, чем более безумна и подла будет его неистовая жажда крови.

[Из неопубликов. статьи 1931 г.]

Фашисты кровожаднее зверей, но более трусливы, чем звери. Они рубят головы коммунистам, но, разумеется, понимают, что каждая отрубленная голова возбуждает ненависть к фашизму в тысячах пролетарских сердец.

Настанет момент, когда все эти сердца вспыхнут единым пламенем и выжгут до корней фашизм, гнилую язву мира.

Приветствие Э. Тельману. 1936 г.

КРАСНАЯ АРМИЯ—НАРОДНАЯ АРМИЯ

Товарищи, я ненавижу войну, как самое жестокое явление, но когда меня берут за горло, я буду защищаться до последней капли крови.

Речь на проводах на фронт петербургских коммунистов. 1920 г.

Я всю жизнь был «пацифистом». Война вызывала у меня только отвращение, стыд за людей и ненависть к зачинщикам массовых убийств, к разрушителям жизни.

Но после той героической войны, которую победоносно провёл голодный, босой, полуголый наш рабочий и крестьянин, после того как рабочий класс, строя новое, своё государство в невероятно трудных условиях, показал и показывает себя умным, талантливым хозяином,—после этого я тоже убедился в неизбежности смертельного боя.

И если вспыхнет война против того класса, силами которого я живу и работаю,—я тоже пойду рядовым бойцом в его армию. Пойду не потому, что знаю, именно она победит, а потому, что великое справедливое дело рабочего класса Союза Советов—это моё законное дело, мой долг.

О бесчеловечии. 1929 г.

Я знаю и вы знаете, что вы являетесь первой армией, которая служит только народу и защищает только его интересы.

Выступление перед бойцами и командирами Красной Армии Октябрьского лагеря 14 июня 1928 г.

Одним из крупнейших и бесспорных достижений советской власти является организация Красной Армии. Интересно было бы подсчитать, сколько грамотных людей дала деревне Красная Армия за эти годы. Сколько из среды бойцов воспитано председателей волостных и сельских комитетов? Сколько бойцов ушло и уходит на рабфаки, в вузы, сколько их работает в красноармейской прессе, сколько создано из них высококвалифицированных рабочих, и вообще: какова цифра культурных людей, воспитанных первой, за всю трагическую историю Европы, действительно народной армией, созданной не для нападения, а для самозащиты?

О Красной Армии. 1928 г.

Теперь у нас есть Красная Армия, армия бойцов, каждый из которых хорошо знает, за что он будет драться.

Если враг не сдаётся — его уничтожают. 1930 г.

Теперь Союз Советов имеет хорошо вооружённую армию, каждый боец которой прекрасно знает, что он будет драться за свою свободу, за свободу страны, где он полноправный хозяин и где нет хозяев, кроме рабочих и крестьян.

К рабочим и крестьянам. 1930 г.

Сегодня, первого мая, в стране Союза Социалистических Советов рабочие и крестьяне произведут смотр своим силам. Парадно, под красными знамёнами, под звуки победоносного гимна и пения медных труб, мощные потоки единиц, крепко спаянных сознанием своей всевластности, подлинные хозяева и законодатели своей страны, гордые великими успехами героической работы своей, они пройдут по улицам на площади и там увидят Красную Армию, стройные ряды братьев и детей, увидят всё, что сделано для самообороны Союза Советов—юного великана, который живёт и работает для того, чтобы разрушить всё отжившее, построить на земле новый мир.

Под красными знамёнами. 1931 г.

Мы имеем право гордиться фактом, небывалым никогда, нигде: наша Красная Армия—культурная сила, а не только организация, созданная для физической защиты рабоче-крестьянского государства.

Школе взрослых в Смоленске. 1931 г.

Что пожелать вам, товарищи, в тринадцатом году творческой работы строительства нового мира и на третьем году пятилетки? Прежде всего—желаю бодрости духа! Нет таких препятствий, которые не могла бы преодолеть организованная партией Ленина энергия рабочего класса! Это неоспоримо доказано тринадцатью годами работы, мужество и успехи которой—изумительны!

Молодым литераторам—красным бойцам желаю не уставать учиться.

Всегда—учиться, всё—знать! Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь. И надо очень твёрдо помнить: в будущих битвах красный боец должен действовать не только пулей, штыком, саблей, но и своим революционным словом рабочего, который сумел стать хозяином всей страны своей и изо дня в день украшает её своим трудом свободного человека.

Итак, товарищи, вперёд на великий труд строения первой в мире крепости социализма!

Да здравствует рабочий класс, его партия, его Красная Армия, да здравствует комсомол!

И—да здравствует пятилетка—дерзновеннейшее дело, доступное только силе коллектива героев!

Письмо ЛОКАФ Белорусского военного округа 9 января 1931 г.

Боец Красной Армии—гражданин своей страны, хозяин, страж её и строитель её будущего.

О «солдатских идеях». 1932 г.

Рабоче-крестьянская масса Союза Советов не хочет воевать, она хочет создать государство равных. Но в случае нападения на неё она будет защищаться вся, как одно целое, и победит, потому что на неё работает история.

Ответ интеллигенту. 1931 г.

Горячий сердечный привет бойцам первой в истории человечества социалистической армии, которая будет бороться только за действительную справедливость, необходимую всему миру трудящихся.

Приветствие по случаю 15-летия Красной Армии. 1933 г.

Теперь не только каждый красноармеец, но каждый юноша, вплоть до пионера, должен знать и знает, за что они будут драться, что будут защищать.

Две пятилетки. 1935 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Другов — Героический образ русского народа в творчестве Горького 3
О русском народе 11
Русская природа 14
Поэзия труда. Русское народное творчество 23
Русское искусство 47
Люди революционного подвига 104
Владимир Ильич Ленин 137
Страна Советов и её великий вождь 152
По Союзу Советов 157
Народ героев 170
Нерушимое единство народов Советского Союза 216
Об искусстве Советской страны 221
О ненависти к врагам родины 231
Красная Армия — народная армия 235

Редактор А. Котов

Подписано к печати 26/X 1944 г.
А-7943. Тираж 25 000 экз.
Печ. л. 7 1/8. Уч.-авт. л. 10,8.
Заказ № 143. Цена 4 р.

3-я типография «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

4 р.

ОГИЗ

Гослитиздат 1945